

НИНА МОЛЕВА

ПЕРВЫМИ
РОЖДАЮТСЯ
ДОРОГИ

ББК
УДК
ISBN

НИНА МОЛЕВА

ПЕРВЫМИ
РОЖДАЮТСЯ
ДОРОГИ

«Новая реальность»
Москва, 2013

Графика Э. М. Белютина
Серия графических листов. Львов. 1958.

Штрих-код

«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Москва, 2013

Нина Михайловна Молева-Белютина





19 июля 2013 года. Последнее, раскрывающее все загадки слово сказано: ПРОВОКАЦИЯ. О так называемой манежной выставке 1962 года, площадной брани Хрущева, вдребезги переломанных судьбах тысяч человек. Розыгрыш власти и без вины виноватые.

Правда, 2 часа ночи, зато телеканал «Россия». Двухчасовой фильм в связи с 80-летием «шестидесятника» Евгения Евтушенко. Юбиляр в малиновых штанах, яркой клетчатой рубахе-балахоне. Фиксированная камера. Размахивающий очень длинными руками очень старый человек. И водопад откровений.

Штаты. Это там снят фильм, без выдумки и других участников. Откровение в чистом виде. Приехать на традиционный вечер в Политехническом юбиляр не может – ноги. Да особенно Политехнического уже нет: куда-то переводят, иначе монтируют, снимают директора. Новое время.

Но из того, старого, водопад известных имен, телефонные разговоры с Андроповым – по первому желанию, с его пра-

вой рукой – генералом армии КГБ Бобковым (книга «КГБ и власть»). Постоянные попытки уговорить власть в смысле большей лояльности.

Разговор в Париже с Марком Шагалом, желающим вернуться в Россию. Привезенные в СССР личные письма Хрущеву самого Шагала и Мориса Тореза, поддержка нашего посла во Франции Виноградова и – непреодолимая стена в лице Лебедева. Помощника Хрущева по культуре. Ничего не слышал о Шагале. Присланный альбом его работ – абракадабра да еще семитского толка. Отказ передать Хрущеву. Бессилие поэта перед таким препятствием.

Секретное приглашение в Кремль на встречу Нового года сразу после манежных событий. Выход с обнимающим его Хрущевым в банкетный зал. Демонстрация полной симпатии к нему генсека. Соответственно никаких, как он опасался, препятствий при выезде за границу. Визиты к «бывшему вождю» на его дачу, и признания Хрущева в том, что ему было стыдно произносить те слова, которые он произносил в Манеже, и просьба к поэту передать его сожаления и глубочайшие извинения всем литераторам и художникам.

И вот тут-то объяснение смысла манежного скандала, который должен был доказать всему миру, и в первую очередь США, сохранение железной сталинской руки. Новый виток холодной войны, которая была заявлена, но не помешала поэту («меня слишком любили и знали!») разъезжать по миру. Ничего особенного: просто продуманная ПРОВОКАЦИЯ. Слово, которое почему-то не произносилось полвека, подмененное рассуждениями о физическом состоянии вождя, его настроении,

вкусах и пристрастиях трудящихся, позволявшее все шире и тупее разворачивать «борьбу за соцреализм».

Провокация! Но это слово было сказано до приезда Хрущева. Когда участники выставки, художники «Новой реальности» выходили из нашей квартиры на свою Голгофу, один из них обратился к Э. Белютину: «А если это провокация». Дмитрий Громан. Сын прокурора Одесской области. Ответ Белютина: «На правительственном уровне? Такого не может быть».

Может! Извинения, которые Хрущев поручил передать художникам поэту, в 1991 году ЦК партии опубликовало в газете «Правда» по случаю открывшейся в Манеже выставки «Новой реальности», но ведь слишком многими жизнь уже была прожита.

Провокация! Но чиновники были готовы к превращению в действительность. 25-27 декабря 1962 года. Заседание в ЦК партии под председательством Ильичева литературной и художнической молодежи. Пафосное выступление Евтушенко, как он собственноручно отведет в КГБ каждого, кто при нем выскажется против советского строя (куда деться от стенограмм!). И сразу после Нового года, где поэта «оправдал» своим объятием Хрущев, вызов Н. Молевой в Правление Союза Советских художников на улице Горького. В кабинете окнами на МТЮЗ две женщины – секретарь Союза скульптор Екатерина Белашова и секретарь МОСХа, жена Вучетича, Сарра Валериус.

«Вы член Союза?» – «Десять лет». – «В какую секцию подавали заявление? В искусствоведческую?» – «Не подавала ни в какую. Принята сразу на общем собрании МОСХа, без прохождения кандидатского стажа, по предположению председате-



ля Правления Федора Богородского». – «Это нарушение!» – «Принята единогласно». – «Значит, все-таки искусствовед». – «Как угодно. С 1943 года член Московского Городского комитета союза художников книги и графиков». – «Что-о-о? На каком основании?»- «Графика во фронтовой печати». – «Причем здесь фронт?» – «Старший лейтенант запаса. Все данные в моей анкете». – Почти визг С. Валериус: «Тем более позорно!» – «Что?» – «Ну, то, что вы устроили в Манеже». – «А вам удалось видеть экспозицию?» – «нет, но вот...» – кивок в сторону молчащей Белашовой. – «Так что же там было позорного? «Нерыдай обо мне, мама» Белютина?». – Валериус: «И это тоже»

Первое слово Белашовой: «Стоит вопрос лишить вас членства». – «Вернуть билет?» Сую руку в сумочку. «Нет, нет. Дело в ненужности этих работ...» – Кому». – «Партии и правительству». – Валериус: «Никита Сергеевич сказал: и нашему народу!» – «Я видела и слышала одного Хрущева. Для целого народа этого недостаточно. Нужен по крайней мере Верховный Совет». – «Да как вы смеете!» «А право на свое мнение профессионала я приобрела за четыре года войны. Вам нужен билет?» – Белашова: «Речь не об этом. Вы обязаны дать объяснение...» Поворачиваюсь и ухожу.

Сатисфакция? Никакой. Еще до Нового года со мной расторгнуты договора со всеми издательствами. Издательство Академии художеств СССР – там вышли наши с Белютиным книги «Чистяков – теоретик и педагог», все эпистолярное наследие Чистякова, «Чистяков и его ученики» (развернутый каталог организованной нами в залах Академии художеств еще при жизни Сталина выставки), собственно мой «Констан-

тин Коровин». Аналитический разбор творчества и все эпистолярное наследие.

О «Коровине» разговор особый. В нем я выступала заговорщиком вместе с директором издательства Х.А. Ушениным. Белоэмигрант или выброшенный из страны художник? Мы с Ушениным отстаивали последнее утверждение на основании впервые публикуемых документов. Президиум Академии художеств настаивал на белоэмигранте, и в поддержку ему параллельно выходила соответствующая книга в издательстве «Искусство». Уже после Манежа пришлось рискнуть обратиться на Старую площадь за окончательным решением – оно оказалось положительным. И это несмотря на то, что президиум Академии художеств дважды предписывал собственному фирменному издательству рассыпать набор (он еще делался в свинце).

Отказ от сотрудничества издательства «Просвещение», где почти одновременно с Манежем вышла моя книга «Выдающиеся русские художники-педагоги».

Отказ издательства «Искусство». Самый сильный удар – ведь в нем вышел наш четырехтомник по теории русского изобразительного искусства. Первый том охватывал XVIII век, второй – первую половину XIX-го, третий – вторую половину XIX-го – начало XX-го вплоть до основ русского авангарда. Остался в издательстве и был рассыпан том 20-30-х годов XX столетия. Зато ставший чуть ли не настольной книгой искусствоведов том о первой половине XVIII века («Живописных дел мастера» с приложением энциклопедического справочника по живописцам того же времени) буквально спасла заведующая реакцией издательства «Искусство» Наталья Павловна Лапшина, поп-

латившаяся своей должностью, которую заняла И.В. Никонова, до конца своих дней выступавшая против архивной подосновы искусствоведческих трудов. Она оставалась сторонницей теории концепций. Тем более угадываемых в действиях Идеологического отдела Старой площади.

Разговор начистоту вышел с заведующим Отделом культуры ЦК Д.А. Поликарповым. По его расчетам единственным выходом для меня было хотя бы временно не настаивать на искусствознании и «переориентироваться» на историю: «Знаю отзывы наших историков. У вас выйдет».

Я попросила у него о встрече утром 2 декабря. И тут же была принята. Это Поликарпов, как член Идеологической комиссии, по телефону уговаривал Белютина накануне «высокого посещения» согласиться на показ. Поликарпов пробыл в Манеже всю ночь пока Белютин делал развеску. Поздравил его с удачным решением. Вместе с Фурцевой. Наконец, я работала с ним больше десяти лет как консультант по искусству его отдела. Наши точки зрения часто не сходились, но уважение оставалось безусловным. А когда Дмитрий Сарабьянов и Александр Каменский в качестве аспирантов МГУ обратились в ЦК с разоблачением первого тома «Всеобщей истории искусств» М.В. Алпатова, обвиняя автора в пропаганде враждебной советскому строю идеологии, Поликарпов сразу согласился с моей точкой зрения, что первый опыт такого рода в советском искусствознании сам по себе является предметом гордости («идеологические ошибки» можно было исправить во втором издании).

Именно Д.А. Поликарпов вместе с главным редактором газеты «Культура и жизнь» – (в первом ее варианте – как орга-

на ЦК) В.В. Воронцовым-Вельяминовым (он же в дальнейшем руководитель канцелярии М.А. Суслова) решили, что от лица Идеологического отдела именно мне следует принять авторов письма и умерить их разоблачительский пыл.

Дмитрий Алексеевич встал мне навстречу в своем огромном кабинете окнами на Политехнический музей и, протягивая руку, молча пожал плечами. Посоветовал не подавать сразу заявления об уходе («все не вечно под луной»). Поздравил с «отличной книгой» – на столе у него лежал оригинал «Коровина». Позвонил главному журнала «Вопросы истории», назвал мое имя. Это было все.

Рядом же такое недоумение и сочувствие многолетнего секретаря Поликарпова Вали, его близкой помощницы старшего инструктора Аллы Петровой и настоящий взрыв со стороны только что принятого инструктором моего однокурсника, инвалида без руки, Вадима Полевого: «Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте. Чем вам без этих новшеств не жилось».

К «Вопросам истории», уже собственными усилиями, удалось прибавить журнал «Знание – сила». Популяризация науки, загадки истории, но искусствознание? Мой первый материал касался общеизвестного двойного портрета художника петровских времен Андрея Матвеева с женой. Предмет особой гордости историков: во-первых, такой ранний автопортрет, во-вторых такая продвинутая для русского искусства манера письма. Ученый совет Русского музея и лично заведующий отделом XVIII века Н.Н. Новоуспенский пригласили меня изложить свои соображения по атрибуции полотна. За чуть старомодным оборотом, совершенно обязательным для петербуржцев, для

меня крылся экзамен перед лучшими специалистами по XVIII веку – Алексеем Николаевичем Савиновым, Смирновым да всех и не называть.

В системе моих доказательств отдельное место занимали два обстоятельства: как объяснить хранение незаконченного портрета в царских хранилищах (портрета художника, а не царствующей особы!), возможность появления самой идеи автопортрета. И еще стоимость и фасон костюмов, невозможных по цене и недопустимых по социальному положению мастера. Именно на этом и был построен мой рассказ для журнала.

И сразу по выходе номера предложение ответственного секретаря Григория Зеленко о командировке: «Условие – недолго и только для нас». Я без размышлений назвала Минск-Несвиж, опираясь на рассказы моих слушателей по Высшим Литературным Курсам поэтессы Евдокии Лось и Володи Короткевича, к которым прибавилась переписка с искусствоведом Адамом Мальдисом.





НЕСВИЖ! СТОЯНКА ДЕСЯТЬ МИНУТ!

– И вообще это город легенд, – закончила моя собеседница. Разговор шел шепотом в зале Исторической библиотеки. Случайный разговор о случайно сложившемся отпуске, в том времени, когда в каждом из нас интерес ко всему необычному становится просто обязательным.

Но если даже здесь, прямо за окном, среди геометрии бесконечных – до горизонта – московских новостроек, продолжал стоять Ивановский монастырь, в котором десятки лет скрывалась таинственная княжна Тараканова, почему было не поверить в сказания далекого и мне незнакомого Несвижа?

– Тараканова? Так она была и в Несвиже. И, говорят, не только была...

«Говорят» – какое неубедительное, чаще всего не значащее для историка слово. Но с Таракановой, предполагаемой дочерью императрицы Елизаветы Петровны и одного из ее фаворитов, все иначе. Существовала если тайна, ее сумели сохранить – документы молчат. Не удалось справиться только с народной молвой. Говорят...

Глухие серые стены, будто растекающиеся по замысловатым склонам холма. Глыба старого собора, когда-то широкими ступенями открывавшегося в путаницу сбегających к нему переулков. Огромная шапка грузно осевшего купола. Нет, это не

старина. Москва знает сотни памятников старше, интереснее по архитектуре, и все же не так-то просто пройти мимо Ивановского монастыря. Вот рядом взгромоздилась на пригорок церквушка XVII века. Маленькая, приземистая, с подслеповатым рядом окошек и пирамидкой кирпичной колокольни. Зимой в пухлых сугробах, летом в неразберихе листвы, волнах тополевого пуха, она, кажется, дышит неторопливым дыханием пережитых веков, готова ожить шумом человеческой толчеи. Но здесь все наоборот – ни травинки, ни ветки. Камень. Угрюмая отчужденность. Тишина. И первое впечатление не обманывает. Основание монастыря теряется далеко в XVI столетии. Причастна была к нему мать Ивана Грозного, та самая молодая великая княгиня, которая умела любить, и ненавидеть, и силой добиваться своего – все нараспашку, зло, отчаянно, забывая о всяких расчетах. Любила красавца Овчину-Телепнева при муже и после мужа, не таясь от бояр, и возненавидела весь двор, что мешали нескрывавшемуся чувству. Молва твердит, будто узнала о беременности своей предшественницы в великокняжеском тереме Соломонии Сабуровой и не задумываясь помчалась в суздальский монастырь-тюрьму, зачем-то виделась с постриженной в монахини Соломонией, в чем-то убеждала, чего-то добилась. Поди разгадай, какой конец встретил отлученную от мужа бывшую великую княгиню. Есть слух о раскрытом в Суздале погребении, где лежали останки женщины и новорожденного младенца. Есть и легенда о Кудеяре-атамане, сводном брате Ивана Грозного, которого одного тот в жизни и боялся.

Причастен к монастырю и сам Грозный, причастен злобой и самовластьем, меры которым, подобно матери, не знал ни-

когда. Не понравился старшему его царевичу первый брак, еще одна неудачная княгиня из рода Сабуровых – Александра, и, хоть постригли ее в московском Рождественском монастыре, прожила свою жизнь и нашла конец в стенах Ивановского. Могло ли это служить славе монастыря? Впрочем, он ею и не пользовался, богатством не отличался, известностью тоже, пока не произошло в нем необыкновенное происшествие.

Говорят, была у Елизаветы Петровны дочь (одна ли?), росла за границей (почему?), вернулась (была привезена?) при Екатерине II, а дальше – деятельно подключается полуофициальная, поддержанная некоторыми историками версия.

В шестидесятых годах XVIII века была пострижена в монахини под именем Досифеи неизвестная женщина «редкостной красоты» – обязательным атрибутом всех загадочных личностей. Ей не давали ни с кем видаться, даже разговаривать. Служба в надвратной, соединенной с ее кельями церкви служилась для нее одной одним и тем же священником и причетником при закрытых дверях. И так больше сорока лет – кара за высокое, слишком высокое положение, как допускала полуофициальная версия, происхождение. Что ж, родная, пусть «незаконная», внучка Петра I была в чем-то опасной конкуренткой для случайно захватившей русский престол принцессы немецкой крови – Екатерины II. А вот похоронена Досифея в родовой усыпальнице семьи Романовых, – правда еще тех далеких времен, когда они не владели престолом, – московском Новоспасском монастыре. Значит, в этом ей не могли (не хотели?) отказать. Хранился в Ивановском монастыре (иные утверждают, что в Новоспасском) и портрет ее с надписью: «Принцесса Ав-

густа Тараканова, во иноцех Досифея, постриженная в московском Ивановском монастыре». Нужна ли была память об умершей или, скорее, лишнее доказательство, что лишилась она всех мирских прав и действительно стала монахиней, – кто знает...

В Отечественную войну 1812 года монастырь сгорел. Исчезли следы Досифеи. Исчезли следы и тридцать три года находившейся в заточении рядом с ней печально знаменитой Салтычихи. Осталась память о них и нераскрытая тайна, словно перешедшая в постройки, возобновленные всего лишь в середине прошлого столетия.

И было другое. Во время Пугачевского восстания в Европе появилась «самозванка», по официальной опять-таки версии, «всклепавшая на себя имя» дочери Елизаветы Петровны. Не нуждавшаяся в средствах, превосходно образованная, свободно владевшая несколькими языками, повела она себя очень решительно. Переговоры с государственными деятелями в разных странах, без усталы разъезды, торжественные и полуофициальные встречи, и в самые критические месяцы постоянно где-то рядом заклятый враг Екатерины Кароль Радзивилл, восторженный поклонник, расчетливый политик, предусмотрительный банкир. Огромные владения в Литве, на Волыни, в Белоруссии делали его поддержку более чем серьезной.

«Самозванка» была обманом привезена в Россию и кончила свои дни в пыточных застенках Петропавловской крепости. «От чахоточной болезни» – утверждала официальная версия, во время наводнения, «оплошностью» забытая в камере, – гласила молва. Так и изобразил ее в заплесневелом каземате среди спасающихся крыс и потоков ледяной воды художник

Флавицкий. Она и только она признавалась народной молвой за подлинную княжну Тараканову.

И вот, говорят, есть город, с которым «самозванка» была связана. Несвиж – что же это такое?

В фондах Исторической библиотеки ответа не было. Просто литературы о Несвиже не существовало. Его тогда еще обходили туристические маршруты, не припоминали в печати краеведы. Прозрачная брошюрка десятилетней давности расхваливала, в общем-то, целебные свойства местных вод – лечитесь в санатории «Несвиж»! Надо было писать друзьям в Белоруссию. Надо было шаг за шагом узнавать, что литературный критик Адам Мальдис занимается творчеством чудесного литератора прошлого века Владислава Сырокомли. А раз Сырокомля жил в Несвиже, то есть надежда именно от Мальдиса получить нужную справку о городе.

Потом оставалось ждать ответного письма и лишней раз из него убедиться, что первой и последней данью несвижской были и остались «Прогулки по моим когда-то местам. Воспоминания, опыт истории и обычаев Владислава Сырокомли», изданные в Вильно в 1854 году. Того самого Сырокомли. чьи стихи знает на память почти каждый, не задумываясь над именем автора. Да и кому придет в голову, что не в каких-то степях, а в Несвиже и его околицах сложились слившиеся с лемешевским голосом строки: «Когда я на почте служил ямщиком...»

В библиотеке было два экземпляра книги. В одном не хватало страниц – я попросила его заменить; зато в другом на титульном листе широким росчерком плывущих чернил стояло: «Тадеушу Буткорыну – В. Сырокомля».





Авторский автограф! Вещь редкая, мечта каждого библиофила, он был здесь как привет и приглашение перед тронутыми грустью строками: «Единственную в своем роде книжку приношу я тебе, читатель! Путешествие на протяжении пяти или шести верст, по околице, не заслуживающей никакого внимания, околице, которая в прошлом не многим себя увековечила, а теперь и вовсе лишилась всякого значения...»

И дальше Несвиж, один Несвиж. Художники, князья, сражения, улицы, дома, ветер в деревьях, и через все – доля и недоля народная, от которой не оторваться поэту в черную полосу николаевского безвременья. Ничто не было тогда так дорого – ни памятники истории, ни жизнь человека или – иначе – судьбы людские в прошлом, в настоящем, в будущем.

Здесь Сырокомля учился в школе, сюда вернулся со временем управляющим замком, разбирался в архивах. И хоть эти годы были не очень долгими, через них ему увиделась вся родина. Несвижскими образами, их грустью и задушевым теплом, их историческими трагедиями зазвучали его произведения, так увлекавшие и волновавшие читателей прошлого столетия. Кто же тогда не знал Людвиг Кондратовича, скрывавшегося под псевдонимом Сырокомли.

Незаметно из чужого случайного рассказа – Несвиж становился предметом собственного поиска. Но города как книги: можно знать их содержание, только ничто не заменит собственного переживания созданного писателем или самой историей образа. А чтобы увидеть Несвиж, надо было ждать удачного стечения обстоятельств – отпуска, командировки. И наконец...

«ЛАЗ» круто нырнул с высокой грядки дороги, готовой

перейти в городскую улицу, закачался в трескотне ломкого мартовского ледка у автобусной станции. «Несвиж! Стоянка десять минут».

Гудит ветер в стиснувших улицу тополях. За разнобоем веток тут и там высокие кровли. И с гортанным криками засыпающих грачей сумрак стирает тяжелые очертания крепости, может быть – замка.

«Издалека?» – «Из Москвы». – «Даже! Не к Первопечатнику ли? Так это к Слуцкой бреме, по левой стороне». Все просто: несколько сотен шагов – и Первопечатник Иван Федоров. Так вот, значит, куда закинула его после Москвы судьба! Тени княжны Таракановой приходится потесниться.

Иван Федоров – знакомая фигура у Китайгородской стены: в длиннополом кафтане, с непокрытой головой и книгой в руке. Кто не знает, что ему обязана первой типографией, первыми печатными изданиями Москва, да и не только Москва. Но вот биография Федорова – она почти никому не известна. Встреча в Несвиже – лишнее напоминание, какой же нелегкий жизненный путь пришлось этому человеку пройти.

«Не пристало мне, – пишет Иван Федоров в послесловии одной из своих книг, в пахании да сеянии семян всю жизнь свою коротать: вместо сохи ведь у меня искусство ремесленное, вместо сосудов с хлебными семенами – семена духовные, которые надлежит по свету рассеивать... И когда, бывало, останусь наедине, часто слезами я орошал постель мою, размышляя, как бы не скрыть в землю таланта, врученного мне богом».

При самой горячей поддержке и щедрых субсидиях Грозного понадобилось десять лет напряженной работы, чтобы

организовать и пустить в ход московскую типографию. Начинать приходилось на пустом месте – и в отношении оборудования, и в отношении специалистов, способных обслуживать книгопечатное дело. И, несмотря на полный успех, Ивану Федорову пришлось ото всего отказаться и уехать.

«Нами устроена была в Москве книгопечатня, – рассказывал сам Федоров, – но часто стали мы подвергаться жесточайшему озлоблению не со стороны самого царя, а со стороны многих начальников, священноначальников и учителей... Эта зависть и ненависть принудили нас покинуть нашу землю, род и отчество и бежать в стороны чуждые незнакомые». В своих скитаниях, окрашенных горечью разлуки с родными местами, и оказался былой дьякон московской кремлевской церкви Николы Гастунского Первопечатник в Несвиже!

Наверно, двухэтажному беленому зданию, боком выдвинутому на улицу у арки Слуцких ворот, следовало быть в лучшем состоянии. И реставрация по старым планам нужна, и памятная доска не помешала бы, обстоятельная, чтобы сразу все стало понятно. Но все-таки главное – дом существует, та самая «друкарня», в которую с помощью Ивана Федорова и Петра Мстиславца началось в 1560 году печатание книг. Четыреста лет даже для истории немалый срок, история же печатной книги укладывается в них почти полностью.

Но в Несвиже речь шла не о книгах вообще. Первые издания «друкарни» – сочинения Симеона Будного, те самые, за которыми со всей беспощадностью фанатизма будет охотиться церковь. Каждый разысканный экземпляр сгорел на костре.

Если Возрождение значило прежде всего возрождение

человеческого разума от обязательных форм мышления, от предписанного отношения к миру и человеку, которые некогда предложила и любой ценой охраняла христианская церковь, Будный принадлежал ему полностью. «Верить – не размышлять», – требовала церковь. «Сначала размышлять – потом верить» – утверждали труды Будного. Для Будного Христос историческая личность, просто человек, без тайн, загадок и божественного происхождения. Можно разделять его учение, противно человеческому разуму поклоняться ему как богу. Выводы еще более крайние, чем их делает в ту же эпоху на Западе протестантизм.

Будный бунтовал против церковного догматизма, писал книги, осуждался церковью, снова писал свои направленные против нее труды, снова подвергался осуждению. Священник, он был лишен права служить в церкви, а число его сторонников стремительно росло, своего рода «несвижская ересь». Никаких подробностей из жизни гуманиста история не сохранила. Ее начало и конец тонут в неизвестности. И кроме книг, кроме памяти о воинствующем учении остается только вот эта самая «друкарня», простое неприметное здание, где помог наладить первые станки Иван Федоров.

Совсем небольшими смотрятся будто осевшие под высоким глухим фронтоном Слуцкие ворота, когда их огибают рвущиеся на шоссе многотонные самосвалы. Техника набирает мощь – старые масштабы теряют былую значительность. И не один водитель, выписывая замысловатый вираж, чертыхается на несуразно расположившуюся историю.

Узкий проем проезда – на один воз, затиснутые в камень

боковые помещения стражи – «варты», которая собирала с въезжавших пошлину. Покровительная плата говорит, что восстановлена брама при Кароле Радзивилле (тот самый!). Только не сказано, что разрушены они были шведами, которые огнем и мечом прокладывали себе путь к Полтаве.

А брама существовала и раньше наряду с другими, ныне исчезнувшими – Замковой, Клецкой, Виленской, и той, что стояла у бернардинского монастыря. Если верна поговорка, что первыми на земле рождаются дороги, должна она была стоять и в XIII веке. Отсюда выступали в 1224 году войска несвижского князя, сражавшиеся в битве на Калке, – первое упоминание летописи о существовании Несвижа. Именно от него город и отсчитывает свои без малого семьсот шестьдесят лет.

Города лучше всего смотреть летом: зелень красит. Архитектуру – осенью, в призрачной сетке ярких и облетающих листьев. Зато историю – весной, не той, когда острая прозелень застилает глаза, а совсем ранней, когда ни снег, ни зелень не скрывают следов, оставленных на земле человеком. Это как правда – горькая или радостная, но всегда суровая в своей недосказанности.

Чуть повыше Слуцких ворот, с площади старого рынка, панорама – пригорки, ровные скаты холмов, просветы воды. В их точно рассчитанном чередовании память о прошлом – от средневековья до XVIII столетия, идеальная схема оборонительных сооружений.

История... Центром удельного княжества входил Несвиж в Киевское, Минское, потом Галицкое княжества. Отходили его земли к литовским феодалам и польским князьям – после же-

нитьбы литовского князя Ягайлы на наследнице польского престола. С шестнадцатого века он столица владений Радзивиллов. «Король – в Варшаве, Радзивилл – в Несвиже», – говорила старая поговорка. Несколько тысяч войска мог выставить еще в годы появления княжны Таракановой Кароль Радзивилл. Были в то время в Несвиже театр, кадетский корпус, а в пригороде Альба – школа флотских офицеров, и все для личных нужд князя. Государство в государстве, богатое, беспокойное и грозное.

События, имена, с трудом всплывающие в памяти из уроков истории, на Несвижских улицах неожиданно облекаются в плоть и кровь. Их называют легко, просто, с давно запомнившимися подробностями, как из жизни односельчан.

– Дом пионеров? Это же старая ратуша. Оттуда и башня. Для часов. Несвиж еще в XIV веке получил Магдебургское право.

Приедем не обойтись без новых справок. Магдебургское право на самоуправление – статут города в феодальной Европе. Наперечет известны те, которые им пользовались. А нотка гордости в голосе говорящего наполняет жизнью давно, казалось, забытое установление.

Дом на Рынке. Коренастый под волнистой линией широко расползающейся кровли, в неожиданном контрасте с затормозившей у его дверей новенькой «Волгой» (столовая!). «Это жильё ремесленника. Со времен шведской войны, когда отстраивался город».

– Нет, музея нет. Был. Среди первых в Европе. Почитай-те у Кондратовича и еще у Крашевского. «Кароль в Несвиже». О нем очень «Пане-коханку» заботился.

Опять необходимый комментарий. «Пане-коханку» – иначе здесь никто не назовет Кароля Радзивилла по его любимому присловью «дорогуша».

Неприметный проулок разворачивается площадью посреди отступивших за аккуратные ограды деревянных домов. В просветах калиток всплески промерзшего белья, почерневшие тропки к сараям, собачьи будки, хмельной привкус дымка. Звонко трутся друг о друга голые ветки (каштаны!). И в тревожной сумятице еще по-настоящему не наступившей весны строгий и удивительно чистый рисунок громады собора – «фары».

Гладкие пилястры. Скупое и точно прочерченные карнизы. Стремительный рост фронтонов в проемах огромных окон. Никакой лепнины – одни архитектурные детали разного рисунка, в разных сочетаниях отмечают окна, двери, дробят однообразные стены. В еле приметном чередовании теней и бликов рождается ощущение движения сбегавшей и набегающей волны.

«Памятник архитектуры всесоюзного значения» – таблица у входа говорит о многом и... ни о чем. Где вы встретите воспроизведения собора, где прочтете какие-нибудь подробности о нем? А ведь творения Джан-Мария Бернадони относятся к лучшему, что создало барокко на севере Европы. В справочнике по истории искусства вплоть до фундаментальной энциклопедии Тиме – Бекера едины в этом мнении. И возведенный в 1593 году фарный, в прошлом иезуитский, костел Несвижа, дополненный иезуитским коллегиумом и великолепно разбитым садом, имел своим прообразом римский храм Иль-

Джезу – творение прославленных Виньола и Делла Порты.

У Бернадони не было биографии. Жизнь молчаливого монаха иезуитского ордена – в его творениях. Зодчий принес на славянские земли дыхание итальянского Возрождения, дух прославленного Виньола – рациональность, чистый математический расчет, вдохновение. И если туристы выслушивают восторженные панегирики тому же архитектору в жемчужинах Кракова – иезуитской и бернардинской церквях, если любуются блеском его таланта в соборе Калиша, то почему остается обойденным последнее создание Бернадони – «фара» в Несвиже, законченная уже после его смерти, в первых годах XVII века?

Густо настоявшийся холодом и пылью сумрак. Серые плиты пола с перетертыми буквами имен – внизу, в подземельях, усыпальница не одного десятка поколения Радзивиллов и родственных им родов. Надгробные памятники на стенах, фигуры, откинувшиеся на ложе смерти, застывшие в молении, портреты, надломленные колонны.

Но достаточно отступить от стен – и ты во власти стремительного ликующего взлета пространства к сводам, к широко распахнутым небу и солнцу проемам окон. Только здесь вырывается на волю радостная фантазия архитектора. Широкими мазками ложится на стены лепнина, вырастают из ниш скульптуры. Даже запоздалая роспись середины XVIII века, варварски поновленная в 1902 году, не может нарушить ощущения праздника. Большого. Для всех.

И огромная картина над алтарем – «Тайная вечеря». Ее писал автор росписи художник-монах Юзеф Хеске, неизвес-



тно откуда приехавший в эти места, но всей своей жизнью и творчеством связанный только с Несвижем. «Наш. Местный», – отзываются о нем несвижане. Его-то кисти и принадлежал некогда находившийся в замке «портрет русской царственной особы дивной красоты», как отзываются о нем современники. Как будто все сходится на том, что это была «самозванка». Указать имя Таракановой не представлялось возможным, да и каким действительным, собственно ей принадлежавшим именем можно было ее назвать.

Но чем же все-таки был для Таракановой Несвиж? Отдельные подробности – отдельные догадки. Архивов «самозванки» не имеют, и сколько ни бывало таких личностей в истории, государства не стремились сохранять памяти о них. Другое дело – Радзивилл. Все время в действии, в плетении политических интриг, то с одной, то с другой группировкой, грозный скорее своей неутомимостью и энергией, он в 1768 году вынужден уехать из несвижских земель. Понадобится больше десятка лет, чтобы по тем же политическим обстоятельствам «Пане-коханку» мог вернуться в Несвиж. Появление Таракановой застаёт его в Австрии, Италии, Германии – где угодно, кроме родных мест. Они наглухо закрыты враждой с Екатериной II. Значит, если верить народной молве, Тараканова должна была быть в Несвиже еще раньше, в дни своей юности, даже детства. А пока архивы отвечают на этот вопрос, Несвиж будто между прочим приоткрывает еще одну страницу своей истории; и опять тоненькая, но какая же упрямая ниточка тянется к Москве.

Гостеприимством «Пане-коханку» в те годы, когда Таракановой уже не было в живых, пользовалась известная иска-

тельница приключений Елизавета Чудлей. Редкая красота и сложные комбинации со все более выгодными браками, ради которых она не останавливалась ни перед какими нарушениями законов, принесли ей своеобразную славу. Вот она-то, Елизавета Чудлей, по одному из мужей – герцогиня Кингстон, оказалась связанной с другим подопечным Радзивилла – Стефаном Здановичем. Зданович еще до появления на политической арене Таракановой объявил себя внуком Петра I – Петром III. Несостоявшаяся супруга неудавшегося претендента на русский престол, она танцевала на дававшихся в ее честь в несвижском замке балах, охотилась ночью при свете факелов на кабанов, гуляла по паркам.

Несвижский замок. XVI век. Он нарастает неожиданно, все еще грозно. Стынет черная вода в глубоком рву. В проеме арки двор, россыпь крутолобых булыжников, суровая гладь стен. Только на одном фасаде рука скульптора не пожалела лепнины: пушки, доспехи, шлемы, воины со щитами. И пустота – настороженная, гулкая, ошеломляющая. Ничто не сумело заполнить места, которое нужно было для сотен орудий, для тысячного войска – конного и пешего, для складов амуниции, продовольствия, оружия. Ветер. Грачи. Тишина.

«А богатства тут были несметные, – звучит голос Сырокомли. – Без преувеличения сказать можно, что большая половина Литвы, значительная часть Украины, Волынь, Русь и без малого все полесье приносили сюда дань за свой хлеб, за свои леса, за рыб, что в водах, за птиц и пчел, что в воздухе, и кто знает, может, за самый воздух. Труд тысяч крестьян, обмененный на золото, наполнял здешние сокровищницы драго-



ценностями, здешние погреба – изысканнейшими напитками, мир – изумлением...»

Осады, сражения, победы, поражения, и каждый раз новые поправки зодчих – история, запечатленная в камне. Сколько их было, спокойных лет, в этих стенах? Были ли? Разве что уже в XVIII веке, после того как выбитые Петром шведы оставили, по словам современников, одни руины. Тогда в последний раз отстроился замок.

Библиотека – двадцать тысяч книг чуть не на всех европейских языках. Архив – от древнейших актов до писем французских королей Людовика XIV и Людовика XV, Богдана Хмельницкого, шведского Карла XII, Петра I. Картинная галерея – до тысячи полотен, батальные сцены и, конечно, портреты. Множество портретов. В двенадцати парадных залах золотая и серебряная посуда, оружие, рыцарские доспехи, знаменитые слуцкие пояса. Славился ими соседний Слуцк. Ткались они, как и редкой красоты гобелены, в самом Несвиже.

Время, войны сделали свое. И теперь бы все это казалось легендой, только легендой, если бы не неожиданная фантазия наборных полов в одном зале, рядом щедрая роскошь лепнины, там роспись стен, здесь плафон – свидетельства, которым нельзя не поверить.

Память истории – это совсем не так просто. Чтобы по-настоящему увидеть памятник, о нем надо знать, но чтобы по-настоящему узнать, надо всмотреться и вдуматься – увидеть. В этом напряженном сплетении: память – чувство – мысль, образы прошлого обретают свою другую жизнь, жизнь для нас, ос-

мысленную перспективой прошедших лет, нашими чувствами. И тогда город легенд неощутимо становится городом познания – человека, народа, истории.

«Поехали!» Гулко хлопает дверца водителя. «ЛАЗ» тяжело разворачивается, набирает скорость, закладывает вираж у Слуцких ворот. Подъем, негустой низкорослый лес – и Несвижа нет.

И снова отдается в памяти размеренный ритм «Путешествий» Сырокомли: «А выбирая область слишком маленькую для путешествий, хотим мы дать почувствовать, что каждый уголок края, хоть бы на первый взгляд не представлял ничего необычайного, может быть предметом изучения... каждый, внимательно осмотревшись, по своей родной округе, мог бы подобным же образом внести какой-нибудь вклад в сокровищницу истории».



ЛИСТЫ БЕРЕЗОВСКОГО ДЕЛА

Историческая наука как окончательный приговор. В школе я этот предмет не любила. Сплошной поток войн и восстаний означал бесконечную зубрежку имен и дат, чужих и не наполненных никаким смыслом. Еще не сложившаяся для искусствоведческого профиля университетская программа по истории означала, что сдавать дисциплины приходилось в объеме исторического факультета. В свою очередь преподаватели-экзаменаторы не отдавали себе отчета, в чем и насколько можно давать потачку будущим специалистам по народному, прикладному или вовсе модельерному делу. Пятьдесят два человека первого выпуска искусствоведов никакая Москва не могла обеспечить профильной работой... Куда легче было студентам очного отделения, где преподаватели-историки каждый на свой лад укладывались в предоставленное (и очень небольшое) число часов. Лишняя нагрузка? Но за нее я всю жизнь благодарила университет.

Соседи моей семьи по замоскворецкой коммуналке был Миша Пигулевский. Разница в возрасте в пять лет, невыносимая теснота квартиры и темп жизни, темп, который казался одинаково всех членов семьи, исключали наше общение. Я видела Мишу, когда он приходил к нам воспользоваться дедовской библиотекой, состоявшей напо-

ловину из энциклопедий и справочников. Мне же предоставлялись для занятий соседские комнаты, с большими окнами в татищевский зал, когда все были на работе, а Миша на занятиях. И тем не менее в редких точках соприкосновения я узнавала о его увлечениях на историческом факультете МГУ и особенно в семинаре академика М.Н. Тихомирова, еще не приобретшего будущей известности. У Миши была начата работа по Острожским князьям, к которым по крови принадлежала его мама, дочь тульского вице-губернатора.

О подобном происхождении, естественно, никто не говорил. Но когда Миша ушел с первым университетским ополчением на фронт, он оставил несобранными записки на письменном столе. Его мама так и хранила их, получив одной из первых похоронку на единственного. Мне разрешили записки перечитать, разобраться в семинарских записях. Времени катастрофически не хватало и все же после войны удалось попасть на тихомирские семинары, хотя бы прикоснуться к самому методу изучения исторических фактов. И что не менее важно – утвердиться в абсолютной необходимости архивов, причем не с точечной тематической направленностью поиска, а с самым широким охватом временных явлений.

М.Н. Тихомиров счастливо для меня заметил «Несвиж» и откликнулся на него: «В вас есть ощущение масштабности оценки отдельных фактов. И желание смешать факты с памятниками. Попробуйте серьезно отнестись к этому».

Письмо: «Батюшка, о разлучении твоим с нами сокрушаемся и недоумеваем: нет ли, от досаждения нашего твоего на нас гневу. Дашка и Варька».

Ответ: «Дарья Михайловна да Варвара Михайловна, здравствуйте на лета многа. Челом бью за ваше жалованье, что жалуете пишете о своем здравии. Засим Александр Меншиков».

Время – последние годы XVII века. Корреспондентки – дочери стольника Арсеньева, с раннего детства определенные в подруги к сестре Петра, царевне Наталье, и «Алексашка» Меншиков. Пока еще только денщик, но и постоянный спутник молодого Петра. Приближенный, выделенный среди всех, но все равно безродный. Историки так и не узнают ничего достоверного о его происхождении, родителях, детстве. Единственное, по видимому, точное указание – прошение клира церкви села Семеновского под Москвой, что похоронены-де близ храма родители «светлейшего» и сестра Екатерина, да вот денег никаких на помин не дается. Меншиков меньше всего склонен вспоминать прошлое. Родители могли быть родом из Семеновского, могли жить там по приказу сына – какая разница...

Как бы ни родилась дружба с денщиком, но тянется она у сестер Арсеньевых годами. «Девицы», как станут их называть между собой Петр и Меншиков, пишут письма, ждут встреч, просят разрешения приехать повидаться то в Нарву, то в Воронеж, то в едва успевший родиться Петербург. И приезжают – иногда с царевной Натальей, чаще одни. Не могут приехать, не получают милостивого разрешения, шлют подарки – штаны, камзолы, гол-

ландского полотна рубашки, «галздуки». Только бы Данилыч чего пожелал, только бы пришлось ему по душе посылки.

Подходит к концу лагерная жизнь, и Петр Первый поддерживает Меншикова в неслыханном по тем временам решении – пусть поселит «девиц» в своем московском доме вместе с собственными сестрами. Это у них найдет свое пристанище и Катерина Трубачева – будущая Екатерина I. Письма к Петру теперь пойдут с целой литанией женских имен: «Анна худенькая» – меншиковская сестра, «Катерина сама-третья» – будущая императрица с будущими цесаревнами Анной и Елизаветой; по-прежнему «Варька» и «Дашка».

Собирается навести порядок в своих семейных делах Петр, приказывает сделать то же и Меншикову. Пусть обвенчается, и, конечно, с Дарьей, редкой красавицей, скорой на слезы, не слишком бойкой, не слишком крепкой и здоровьем. Варвара – маленькая, сутулая, зато редкой образованности, ума, железной воли – все равно остается в доме теперь уже супругов Меншиковых. Варвара умеет хранить верность (Меншикову? своим несостоявшимся надеждам?) и остается незамужней. У нее свое честолюбие, полностью растворившееся в успехах меншиковской семьи. Это Дарья будет всего опасаться, ото всего отговаривать, от каждого огорчения пускаться в слезы. Зато рука Варвары во всем поддержит, направит, заставит не задумываясь идти вперед и вперед. О чем только не грезит она для «светлейшего», своего «светлейшего»!

Тщеславие Меншикова... Ему давно мало его исключительного положения при дворе. Вчерашнему безродному нужна собственная корона, наследственный престол. Пусть не рус-

ский, хотя бы герцогский Курляндский. В этой борьбе испытанный ход – правильно решенные браки дочерей, и старшая, Мария, уже десяти лет оказывается невестой сына старосты Бобруйского – Петра Сапеги. Марии едва исполнилось пятнадцать, и только что вступившая благодаря Меншикову на престол Екатерина I присутствует на ее обручении, которое торжественно совершает Феофан Прокопович.

Впрочем, теперь, после смерти Петра, Меншиков не спешит со свадьбой. При его нынешней вообще неограниченной власти он сумеет использовать дочь для приобретения куда более выгодного и могущественного союзника. И в завещании Екатерины – почему Меншиков так настаивает на его скорейшем составлении? – появляется куда какая знаменитая оговорка. Наследником престола провозглашается сын казненного царевича Алексея, который должен (да, да, именно должен!) жениться на одной из меншиковских дочерей. В какое сравнение может идти какой-то Сапега, пусть даже и полюбившийся Марии, как толкуют о том современники, с будущим российским императором. Конечно, пока Екатерина жива, пользуется завидным здоровьем, дарит свое благоволение откровенно появляющимся около престола фаворитам, но... Шестого мая 1727 года императрица умирает, и снова современники вмешиваются со своими домыслами, будто не пошли ей впрок присланные «светлейшим» французские конфеты. Двадцать пятого мая тот же Феофан Прокопович благословляет обручение Марии Меншиковой с Петром II.

Полное торжество? Да, но только на три месяца. Можно легко справиться с мальчишкой-императором, совсем не просто

углядеть за ходом всех придворных интриг. Меншиков явно слишком быстро успокаивается на достигнутом. Как мог он, один из самых тонких и опытных царедворцев, забыть о зыбкости любых союзов, любого соотношения сил, если ставкой становится полнота самодержавной власти. Впрочем, любой власти. Очередной розыгрыш у трона, и седьмого сентября Меншиков под арестом. Дальше ссылка с семьей в Рененбург «до окончания следствия». Правда, пока еще никто не знает смысла обвинения – все зависит от формирования придворных групп. Члены Верховного Тайного совета сходятся на одном: надо изолировать Варвару Арсеньеву. Перехваченная по дороге в Рененбург – кто ж сомневался, что помчится она именно туда! – «проклятая горбунья», как отзовутся о ней фавориты императора – Долгорукие, направляется в монастырь в Александровскую слободу, где столько лет продержал Петр своих старший, державших руку царевны Софьи сводных сестер. Борьба за Меншикова с участием Варвары представляется слишком опасной для тех, кто сумел пошатнуть могущество «светлейшего».

Двадцать седьмого марта следует указ об окончательном обвинении Меншикова и суровейший приговор. Чего лишился «светлейший» – миллионного или многомиллионного состояния, возможно ли это подсчитать? В одной только Малороссии у бывшего денщика числилось четыре города, восемьдесят восемь сел, девяносто девять деревень, четырнадцать слобод, одна волость. И это – не считая владений на великорусских землях, в Прибалтике и отдельных городах. А меншиковские переполненные добром дворцы, достаемые как высшая награда членам царской семьи? А двор из родственников и свойственников

«ее высочества обрученной невесты» Марии Александровны, на содержание которого выдавалось в год тридцать четыре тысячи рублей, больше, чем дочери Петра цесаревне Елизавете Петровне? По описи у Марии девяносто восемь вещей с бриллиантами и двести сорок одна «с бриллиантовой искрой».

После конфискации всего движимого и недвижимого имущества Меншикова с семьей ждала «жестокая ссылка» в Сибирь. Но верховный тайный совет не забыл и Варвары Арсеньевой. Ее было указано постричь в Белозерском уезде в Горском девичьем монастыре под именем Варсонофии безвестно – без упоминания в монастырских документах, содержать в келье безысходно под присмотром четырех специально выделенных монахинь, и главное следить, «чтоб писем она не писала». Почему знать, не ее ли усилиями в Москве в марте 1728 года, за несколько дней до вынесения приговора Меншикову, появилось у Спасских ворот Кремля «подметное письмо» в пользу «светлейшего».

Под неусыпным караулом двадцати отставных солдат Преображенского полка всю меншиковскую семью везут в ссылку. У охранников есть четкое предписание: «Ехать из Рененбурга водою до Казани и до Соли Камской, а оттуда до Тобольска; сдать Меншикова с семейством губернатору, а ему отправить их с добрым офицером в Березов. Как в дороге, так и в Березове иметь крепкое смотрение, чтоб ни он никуда и ни к кому никакой пересылки и никаких писем ни с кем не имел». На тех же условиях и той же дорогой проехали десятки и десятки людей, только тогда под «пунктами» предписания стояло иное имя – всеильного и беспощадного Меншикова.



На восьмой версте от Раненбурга первая непредвиденная остановка – обыск для проверки: не осталось ли у ссыльных каких лишних вещей по сравнению с первоначально разрешенным самим Верховным Тайным советом списком? Лишние вещи действительно оказываются и тут же отбираются. У самого Меншикова – изношенный шлафрок на беличьем меху, чулки костровые ношенные, чулки замшевые и две пары нитяных, три гребня черепаховых, четыре скатерти и кошелек с пятьюдесятью копейками. Хватит бывшему «светлейшему» того, что на нем, трех подушек и одной простыни. У княжон обыск обнаруживает коробочки для рукоделья с лентами, лоскутками, позументами и шелком. В наказание Меншиковы должны ехать каждый в единственной одежде, которая так и прослужит им бессменно до конца ссылки, каким бы ни оказался этот конец.

Яркая роспись цветов в картине В.И. Сурикова – она нужна художнику для создания шекспировской, по выражению М.В. Нестерова, драмы, внутреннего трагизма происходящего, но она не имеет ничего общего с тем, как выглядела на самом деле ссыльная семья. На «светлейшем» черный суконный ношенный кафтан, потертая бархатная шапка, зеленый шлафрок на беличьем меху и пара красных суконных рукавиц. На младшей дочери – зеленая тафтяная шуба, на Марии – черный тафтяной кафтан сверх зеленой тафтяной юбки с белым корсажем и одинаковая с сестрой зеленая шуба. Так и едут они – первыми Меншиков с ослепшей от слез женой в рогожной кибитке, дальше – четырнадцатилетний сын в телеге, последними, тоже на телеге, – обе дочери.

Еще одна непредвиденная задержка – в Услоне, в не-

скольких верстах от Казани, чтобы похоронить скончавшуюся Дарью Михайловну. Никто не будет помогать Меншикову рыть могилу – пусть справляется сам вместе с сыном. Вот если бы на месте Дарьи в эти минуты оказалась «проклятая горбунья»... Она нашла бы в себе силы выдержать дорогу, уговорить Меншикова, прикрикнуть на заливающихся слезами сестер. Эта все могла, на все была способна. И только тоска по меншиковской семье, сознание собственного одиночества и бессилия сведут ее вскоре в могилу.

Наконец, пятнадцатого июля, Тобольск и почти сразу путь на Березов – губернатор не хочет брать на себя ответственность за столь важного и опасного государственного преступника, пусть он и обязан своим местом именно Меншикову. Раз Березов – значит, Березов, испытанное место ссылки самых опасных для престола преступников. Берег реки Сосьвы неподалеку от впадения в Обь. Гнилые болота. Леса. Летом тридцатиградусная жара, зимой сорокоградусные морозы, так что, по свидетельству современников, лопаются стекла, трескаются деревья и скотина зачастую не выживает больше года.

Для жителя Меншиковым назначается только построенный (не распоряжением ли самого «светлейшего»?) острог. Отсюда единственный выход – в церковь, которую, вспомнив уроки на голландских верфях, рубит вместе с плотниками Меншиков. В бесконечные, ничем не заполненные дни он заставляет детей читать вслух Священное писание, но и диктует «значительные события» своей жизни. Диктует, потому что с грамотой «светлейший» до конца своих дней остается в неладах. Впрочем, до конца остается недолго.

В ноябре 1729 года Меншикова не стало. Невысокий, шуплый, он совсем «усох» за это время, от былой юркости не виделось и следа. Детям дается послабление – их переводят из острога в крохотный рубленый дом, но по-прежнему под крепчайшим надзором и караулом: никаких разговоров с посторонними, никаких писем. Ничем не пополнилось их скудное хозяйство. Те же, как и при отце, котел с крышкою, три кастрюльки, дюжина оловянных блюд, дюжина тарелок, три треноги железных и ни одного ножа, ни одной вилки и ложки.

Нет, в Петербурге о них вспоминали. Петр II за десять дней до своей смерти, в преддверии свадьбы с другой «государыней-невестой» Екатериной Долгорукой, предписывает вернуть младших Меншиковых из Сибири, позволив им жить в одной из деревень у родственников. Но кто бы стал считаться с желанием мальчишки-императора, к тому же на ложе смерти! Долгорукие, несмотря на его болезнь, надеялись любой ценой удержаться у престола, если не на престоле. В этих условиях появление даже где-то на горизонте меншиковских наследников было им совершенно ни к чему.

Тот же указ повторит новая императрица Анна Иоанновна в июле 1730 года. Больше того – она вернет Меншиковых-младших в столицу. Подобное решение будет подсказано дипломатическим расчетом. Но воспользоваться «милостью» смогут только сын и младшая дочь «светлейшего» – Мария умерла 29 декабря 1729 года. Можно строить домыслы о ее любви к Петру Сапеге. Можно предполагать связь с одним из Долгоруких, который якобы втайне последовал за сосланной семьей, добился в конце концов расположения опальной царской

невесты и похоронил ее вместе с новорожденным младенцем, – подобное безымянное захоронение действительно было обнаружено в XIX веке в Березове. Только верно и то, что «крепкий караул» исключал всякие встречи и ничем не отличался от самого сурового тюремного заключения. Столь же невозможной была и «тайная» дорога в далекий Березов, тем более незаметная жизнь в нем.

Оказавшиеся в столице племянники увидеть тетки своей Варвары так и не смогли. О ней Анна Иоанновна не сочла нужным ни позаботиться, ни даже осведомиться – слишком опасной славой пользовалась «проклятая горбунья». И только Елизавета Петровна в первом же устном своем указе, едва взойдя на престол, предпишет немедленно разыскать, освободить и привезти во дворец Варвару Арсеньеву. Но этот приказ касался той, кого уже больше десяти лет не было в живых.



ОПОЗДАВШЕЕ ПИСЬМО

Легко сказать «обратиться к архивам», без минимальной подготовки – этим навыком не владел никто из преподавателей искусствоведческого отделения в годы открытия отделения. Впрочем, ничто не придавал «вывертам» какого-нибудь значения... Единственный преподаватель по русскому искусству профессор Наталья Николаевна Коваленская искренне советовала: сначала диплом, а потом занимайтесь чем захотите. В объем знаний, необходимых для получения диплома искусствоведа, хотя бы основы архивоведения не входили. Как никак профессор была соавтором социологической экспозиции Третьяковской галереи. И совет Игоря Грабаря, виртуозно разыскивавшего ответ на любой свой вопрос именно в архивах: «Сначала пробейтесь в архив – каждый имеет свою систему допуска, а там работайте, имея в виду, что может стать во второй раз именно эти дела вам не достанутся. Там случаются свои катаклизмы и пертурбации. Хватит терпения – каждое хоть сколько-нибудь причастное к общей теме имя заносите на отдельную карточку со ссылкой. Поначалу такая бухгалтерия производит впечатление пустой траты времени. Лет через десять – если вы выдержите их в подобном режиме, – имена начнут встречаться, обстоятельства пересекаться. Короче – станет выстраиваться подлинная история культуры, искусства, конкретных людей».

Пробиться в архив – это значит, в каждом отдельном случае надо было иметь отношение достаточно престижного в идеологическом смысле учреждения с точным указанием темы, над которой вы именно для данного учреждения будете работать. Отсюда допрос с пристрастием в учреждении, дающем отношение в архив (конкретный, единственный!), в самом архиве твое личное заявление и обычно трехдневное ожидание разрешения. Если таковое будет дано. Но это было как бы ведением. Дальше надо было сотруднику архива доказать соответствие заказываемого дела с обозначенной в ходатайстве темой. И тут слишком много зависело от складывавшихся личных отношений прежде всего с заведующим читальным залом, принимавшим заявку. И как заключение – цензура. Нужные тебе отрывки текстов переписывались от руки и сдавались тому же заведующему читальным залом для прочтения. Только когда на твоих листах появлялся заветный штамп на использование выписок, можно было вынести свое сокровище из стен архива.

Возникали ли здесь трудности? Еще бы. Подвигом было получить допуск, скажем, в фонд Тайной Канцелярии, иными словами, политического сыска петровских лет. А уж конкретный переписанный документ вообще исследовался под лупой.

И при всем при том как не вспомнить с сердечной благодарностью заведующую читальным залом Ленинградского государственного исторического архива Нину Федоровну Волкову, которая ПОНИМАЛА ход твоих мыслей и делала подчас невозможное, чтобы помочь расползавшемуся по многим фондам поиску. Скромная, на вид жесткая женщина, расцветавшая улыбкой от твоих находок, а то и организовавшая научное сооб-

щение для сотрудников архива. Может быть, поэтому сегодня называют «классической» нашу с Э.М. Белютиным большую статью в журнале «Вопросы архивоведения» о принципах работы историком искусства над архивными материалами.



Шесть пухлых томов, круто выворачивающихся на корешках веером покоробленных листов. Потрескавшаяся кожа заскорузлых переплетов. Мелочь нанесенных рукой архивариуса номеров, потеки, сплескивающиеся слова; строки, старательно отмывающие целые листы до еле уловимых лиловых теней в порах напружинившейся бумаги. Другие листы, которым только искусство реставраторов вернуло былой размер, – крупно и зло оборванные. Почерки – разные, без следов канцелярской умиротворенности, писарского благополучия, мелкие и крупные, размашистые и скаредные, всегда торопящиеся, без оглядки на написанное, нетерпеливо отмахивающиеся от заглавных букв, точек, окончаний. И даты – в постоянной смене, скачках – вперед, назад, снова вперед, через три, пять, десять лет. Привычного «начато – кончено» день за днем, месяц за месяцем нет. Кто-то будто подхватывал из перемешавшейся груды охапки листов и сшивал пачками как попало, лишь бы скорее, том, другой, третий... Судьба людей, перечеркнутая томами, судьба томов, испытавших гораздо больше, чем положено архивным единицам, – «Дело Родышевского».

С чего же начинать? С поисков знакомых имен? На первый взгляд это не представлялось сколько-нибудь затрудни-

тельным: они густо мелькали по всему тексту. Другой вопрос – можно ли было себе позволить такой привычный путь? Путаница листов, отрывочность записей, плохая их сохранность – все грозило исказить смысл отдельных текстовых отрывков до неузнаваемости. Чтобы этого избежать, существовал, пожалуй, единственный и какой же нелегкий выход – попытаться по возможности восстановить первоначальный вид «Дела», его фактический ход и последовательность событий. Значит, сотни листов предстояло прежде всего переписать, тем самым освободить от навязанного сшивкой порядка и перекрестном огне анализа фактов и почерков, качества бумаги и дат найти каждому его настоящее место.

Раз начатая работа подвигалась медленно, трудно, тем более трудно, что мелочная россыпь заключенных в «Деле» фактов все чаще наталкивала на неизвестные историкам выводы, а то и вовсе опровергала привычные сведения из справочников.

Нет, «Делу Родышевского» не приходилось сетовать на равнодушие исследователей. В уникальной картотеке историка русской литературы С. Венгерова, составителя своеобразной библиографической энциклопедии, целый список статей о нем. И то, что статьи публиковались исключительно в религиозной периодике – «Православное обозрение», «Странник», «Дух христианина», «Труды Киевской духовной академии», не оставляло сомнений – суть его заключалась в спорах богословского характера.

Вероятно, для человека прошлого века с еще живыми религиозными представлениями, действующей церковью, знанием теологии, это казалось само собой разумеющимся. Другое

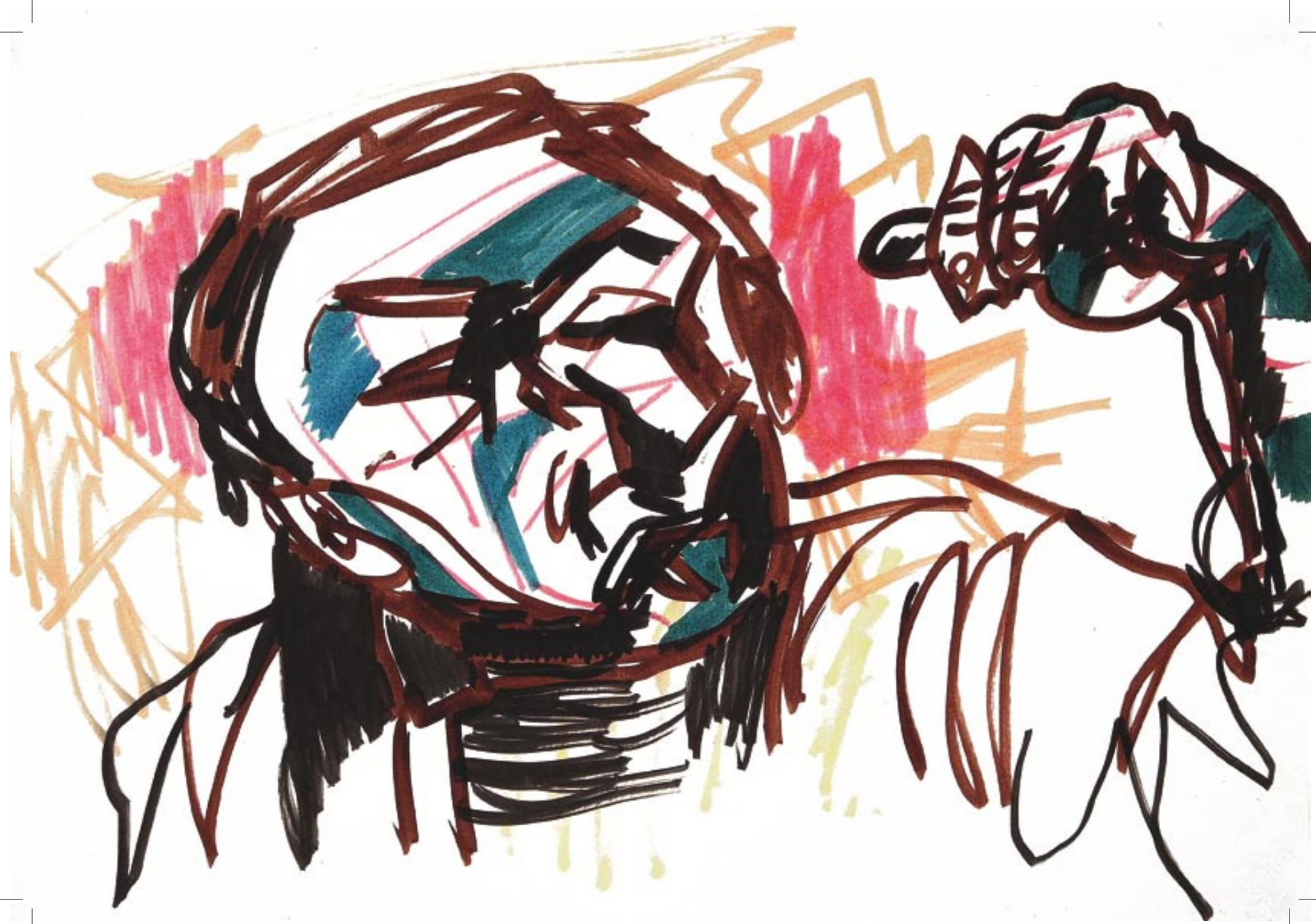
дело – наши дни. Первым же возникает вопрос: почему спор о вере должен был решать тайный сыск, когда во всех других случаях он входил в исключительную компетенцию Синода? Не менее загадочным было и то, что человек, давший имя своему «Делу» – Маркел Родышевский, – в листах, по существу, не фигурировал. Не его обращенное против Феофана Прокоповича сочинение распространялось в «тетрадах», не с ним устанавливало связи следствие. Почти никто из привлеченных по делу, в том числе художники братья Никитины, ни разу не был опрошен об отношениях с Родышевским. Получалось, будто «бывший судья Новгородского дома» понадобился для единственной цели, чтобы имя его оказалось написанным на заглавном листе, да еще – чтобы первым легло в «Деле» прошение на имя императрицы «старца узника», в перипетиях хранения потерявшее к тому же свое начало.

«...Имеются предложенные мои с пунктами о правоверии в правительствующем Сенате на Новгородского архиерея Феофана в противностях ево ко святой церкви, по которым предложениям моим и по пунктам доселе суда не произведено, а я многажды и иман, и бит, и давлен, и едва не удавлен, и кован, и одиножды со всего не токмо монашеского, но что было на мне платья совлечен, так многое время сидел под жестоким караулом, о чем деле в Сенате и Преображенском приказе обретается.

Всемиловнейшей государыня императрица, вашего императорского величества всепокорно прошу, повели, великая государыня, мое дело ради самого бога перед собою взяв рассмотреть и мне с ним, Новгородским Архиереем, очную ставку дать. А при сей челобитной и подобнии тым, каковии я мог спо-







мятать, и подал на него Архиерея Новгородского пункты предлагаются. А поданы таковые пункты от мене в 1726 году в июле месяца дня.

Вашего императорского величества всенижайший раб и богомолец узник Маркел Архимандрит саморучно писал 1730 году марта месяца дня.

Даже стиль письма напоминал знаменитое «Житие протопopa Аввакума», фанатического поборника старой веры: «А я многажды и иман, и бит, и давлен, и едва не удавлен...» Но какой же непрочной оказалась эта иллюзия, достаточно чуть пристальнее присмотреться к автору.

Не только хищение церковного имущества познакомило его с Преображенским приказом. Много раньше, оказывается, Маркел Родышевский столкнулся с ним по обвинению в склонности... к католицизму. Архив Тайного приказа обладал неоспоримыми доказательствами. Униат по вероисповеданию, он скорее всего на этой почве и находил точки соприкосновения с Прокоповичем. Родышевский преподавал в московском Заиконоспасском училищном монастыре, потом был переведен в только что образованный петербургский Александрo-Невский монастырь и здесь вызвал недовольство начальства тем, что имел «в услужении» поляка-католика, вообще не знавшего русского языка. Но покровительство Прокоповича неизменно оберегало Маркела, давало хорошие должности, а в 1725 году по особому ходатайству Феофана перед Синодом – и место «судьи». Разговор об идейных разногласиях возникает лишь после того, как Родышевский оказывается под тайным следствием, преданный своим бывшим товарищем и покровителем.

Следствие, суд, попытки разоблачения Прокоповича, поддержанные группой лиц, среди которых директор Петербургской типографии Михайла Аврамов, монах Троице-Сергиева монастыря Иона, за что все они поплатились присоединением к «Делу», и, наконец, приговор. Новая попытка освободиться была связана с вступлением на престол Анны Иоанновны. Подобная церемония обычно отмечалась самыми широкими амнистиями. На это вполне мог рассчитывать Родышевский, к тому же так трогательно заботящийся о благополучии новой самодержицы: его прошение заключало и предостережение, чтобы Анна Иоанновна не позволяла себя короновать именно Прокоповичу с его «несчастливой рукой» – ведь он короновал и соборовал ее незадачливого предшественника.

На предостережение никто не обратил внимания, под амнистией Маркел тоже не попал, но при всем том его дело не забылось. Совершенно неожиданно, спустя два года после подачи прошения, дается распоряжение срочно свезти в Петербург всех осужденных, в том числе бывшего монаха Иону, который теперь, после снятия сана, назывался своим мирским именем – Осип Васильев, и был Иона, по собственному свидетельству, двоюродным братом живописцев Ивана и Романа Никитиных.

Вина монаха? Формально все выглядело просто. Осип якобы в свое время узнал о «пунктах» Родышевского и, вдохновившись ими, написал собственное разоблачение Прокоповича, которое в виде многократно переписанных «тетрадей» и начал распространять. Тайная канцелярия хотела найти и примерно наказать всех, в чьих руках эти «тетради» побывали. Необъяснимым оставалось то, что подобное желание появилось спустя

несколько лет по окончании первого следствия, «хотя об нем прежнее дело и решено». Что возбудило напряженный интерес тайного сыска?

В ходе нового следствия Осип-Иона называет целый список лиц, которым передавал «тетради». Среди них монахи, канцеляристы, священники, посадские и торговые люди, служитель царевны Екатерины Иоанновны Степан Колобов, живописец из Великого Устюга Козьма Березин, директор Московского Печатного двора Алексей Барсов и даже «богоделенный нищий» Василий Горбунов. Единомышленники? Люди общих взглядов, мечтавшие, как принято считать, о восстановлении «древлего благочестия» и ради этого объединившиеся в некую оппозицию? Пусть так, только почему очень разными были меры наказания при одной и той же вине – чтении подметной «тетради». Для «богоделенного нищего», переписавшего ни много ни мало тридцать экземпляров, к тому же прямого родственника Ионы (и Никитиных!), все заканчивается через несколько месяцев ссылкой на серебряные заводы в Сибирь. Зато так же участвовавший в размножении «пашквиля» великоустюжский живописец Козьма Березин отделяется плетью и возвращается на свободу. «Бить батогами и отпустить с паспортом» – эта пометка появляется раньше или позже против подавляющего большинства имен. Тайная канцелярия как будто досадливо отмечает тех, кто случайно попался на пути, неуклонно затягивая петлю вокруг тех, кто ей действительно по каким-то соображениям нужен. Они остаются в ее застенках на долгие годы, в одиночном заключении, часто до самой смерти, под следствием, допросами, пытками.

Первые симптомы дела появляются в феврале 1732 года, и до августа оно развивается внутри Тайной канцелярии, как одно из многих, достаточно медленно, без особых жестокостей и, во всяком случае, без видимого участия А.И. Ушакова, страшного начальника канцелярии. Но 12 августа (когда первые приговоры давно вынесены и приведены в исполнение) следует доклад императрице. Доклад должен был содержать нечто такое, что не нашло своего отражения в сохранившихся листах дела. Во всяком случае, Анна отдает распоряжение немедленно перевезти всех задержанных в Петербург – именно с этого момента дело приобретает новый и по-настоящему грозный оборот. Императорский приказ касается списка, представленного Ионой, но в нем нет архимандрита Евфимия Колетти, которого Тайная канцелярия допрашивает по тому же делу 13 августа, нет архимандрита Платона Малиновского, вызываемого к ответу 14 августа, нет многих других, которых привлекает в дальнейшем к следствию Канцелярия тайных розыскных дел без всякой видимой связи с показаниями «ростриги».

«Свидетели» Ионы-Осипа допрашиваются только о «тетрадах» – где, когда и от кого их получили, читали ли, кому показывали, не успели ли переписать. Иногда следователи, не доверяя умственным возможностям допрашиваемых, выясняют, что именно те «выразумели» из прочитанного. Совсем иное интересовало Тайную канцелярию в отношении не названных «ростригою» лиц. Здесь и некая книга, написанная католическим патером, ее перевод на русский язык, чтение, распространение, и сразу вопросы о связи с иностранными министрами, разговорах с секретарем испанского посольства, об отношении

к Польше – как будто делопроизводитель, забывшись, продолжил протоколы «Дела Родышевского» допросами другого, неназванного и чисто политического процесса. Но ошибки не было. Те же вопросы, только осторожно, между прочим, задаются и «свидетелям» тем из них, для которых мера наказания не ограничивается батогами, а пребывание в застенках Тайной канцелярии несколькими месяцами, и прежде всего директору Московского Печатного двора Алексею Барсову.

Польша? Испанское посольство? Рождение такого рода тем следовало искать только при дворе. В январе 1732 года заканчивает свой визит польский посол граф Потоцкий, и делает это не по своей воле. Ему дают понять, что императрица не желает больше его видеть в Петербурге. Причин было много, и главным образом личные контакты, которые уж очень деятельно устанавливал Потоцкий. Его открытый, нарочито светский образ жизни напоминал подготовку общественного мнения, если не сказать – подготовку заговора. Польский посол постоянно встречался с П.И. Ягужинским, генерал-прокурором Сената, который к тому времени становится в оппозицию к Кабинету министров. Не опасаясь доносов – в конце концов именно он был человеком, сообщившим герцогине Курляндской об ее избрании и планах «верховников», – Ягужинский вступает с министрами в откровенную борьбу, громогласно и повсюду заявляя о недопустимости засилия курляндцев и добивается... своего смещения с должности. Императорским указом он переводится русским послом в Берлин – род политической ссылки. Еще более существенным и опасным для спокойствия престола было то, что Потоцкий встречался на частной почве с Елизаве-

той Петровной и вел с ней какие-то переговоры. Весьма вероятно, что цесаревна не проявила никакой активности в момент смерти Петра II; возможно, не проявляла ее и дальше, но как дочь Петра I она приобретала значение и для политической оппозиции, и для самой императрицы.

Проходит несколько месяцев, и в городах России все чаще появляются «пашквили», обращенные против правительства. Экономические затруднения, переживаемые страной, разгул террора связывались не просто с «курляндской партией» и ее засилием – речь шла о личности самой Анны Иоанновны. Кандидатов в «хорошие цари» было немало, и в этих условиях особенно важным для императрицы становилось наличие союзников за рубежом, а их еще предстояло покупать ценой соответствующих уступок, союзов и обещаний. В то же время «тайные агенты» иностранных держав констатировали оживление и формирование не партии при самом дворе, а оживление и выступления народа. Именно тогда, в конце лета 1732 года, появляется донесение о том, что «народ с некоторого времени выражает неудовольствие, что им управляют иностранцы. На сих днях в различных местах появились пасквили, а в крепость заключены разные государственные преступники, между которыми немало священников; третьего дня привезли еще из Москвы трех бояр и одиннадцать священников; все это держится под секретом. Главная причина неудовольствия народа происходит оттого, что были возобновлены взимания недоимок... одним словом, народ недоволен». Единственным действительно массовым делом, которым занималась Тайная канцелярия в конце лета 1732 года, было «Дело Родышевского». Больше того –

даты, называемые в донесении, совпадали с датами ареста и переезда в Петербург братьев Никитиных.

Народным недовольством могли воспользоваться политические группировки с самыми разнообразными программами, среди которых не исключалась и «борьба за истинную веру», «за древнее благочестие», но эти мотивы ни разу не всплывают на листах «Дела». Михайла Аврамов – ему прежде всего принято приписывать подобные стремления, подобную Ивану Никитину мнимую измену идеям преобразования. Если бы это и соответствовало действительности, «Дело Родышевского» не дает тому никаких подтверждений. Еще при жизни Петра Аврамов как директор Петербургской типографии создает первую в России Рисовальную школу, где рисовали с обнаженной модели – новшество неслыханное и немылимое! – выдвигает проект Академии художеств, где предстояло стать преподавателями Ивану Никитину и его флорентийскому учителю Томазо Реди. После смерти Петра интересы Аврамова, несомненно, меняются и обращаются в сторону вопросов... государственного переустройства. Он буквально заваливает императорский Кабинет предложениями реформ, и каких! Мнимый фанатик обычаев Домостроя мечтает об институте государственных адвокатов, обязанностью которых было бы получать жалобы от народа, рассылать их по соответствующим учреждениям и следить за принимаемыми по ним мерами. Адвокатам же имелось в виду поручить попечение о наиболее беспомощных и бесправных группах населения – больных, колодниках, бедных работных людях. Аврамову принадлежит идея создания государственных хлебных

запасов, которые могли гарантировать народ от голода, и введения в обращение бумажных денег.

Демократический смысл аврамовских проектов был настолько очевиден, что сам он не только с момента смерти Петра «попадает под подозрение» тайного сыска, но официальные документы открыто определяют его выступления как «неистовства». После первого следствия Аврамов оказывается под строгим надзором в одном из дальних монастырей, но трудности почти тюремной жизни не умеряют его деятельности. Он по-прежнему думает над реформами, критикует существующие порядки, ищет и находит способы общения с внешним миром. Только архивы Тайной канцелярии могут рассказать о негибимой воле и убежденности этого удивительного человека.

С возобновлением «Дела Родышевского» Аврамов снова в Петербурге, в одиночных камерах и пыточных застенках Петропавловской крепости теперь уже на целых шесть лет, а дальше его ждет пожизненная ссылка в Охотский острог. Вступившая на престол Елизавета освободила «неистового Михайлу», но ненадолго. Аврамова многое не удовлетворило и в ее правлении, тем более что с нею, дочерью Петра, были связаны самые большие его надежды. В 1748 году за ним в третий раз и теперь уже до самой смерти закрываются двери Тайной канцелярии.

Научная традиция утверждает принадлежность к сторонникам старины и Барсова. Если Аврамов, по существу, самоучка, собственными усилиями превратившийся в одного из культурнейших людей петровского времени, то за плечами ярославца Барсова лучшее гуманитарное учебное заведение XVII столетия – Московская славяно-греко-латинская акаде-

新来的



мия. Он выносит из нее редкое знание языков и любовь к филологии. Ему одному поручается перевод поступающих в Москву грамот греческого патриарха, он один переводит на греческий постановления Синода для того же адресата. Барсов сличает славянские переводы с греческими оригиналами и по поручению Петра I пишет труд по греческой мифологии. Это книга «Аполлодора, грамматика афинского, библиотека, или о богах» сопровождалась комментарием разночтений и специально составленным каталогом имен греческих с «означением употребления их российского». Такого человека трудно себе представить поборником Домостроя.

Барсова не коснулась первая фаза «Дела» – его имя тогда вообще не упоминалось, но, и оказавшись в застенках Тайной канцелярии после заявления Ионы, он должен отвечать на вопросы не о «тетрадах». Для директора Московского Печатного двора все сосредоточивается на его участии в издании книги «Возражение Рыберино на Булдея».

Таинственные, будто из рыцарских романов XVII века взятые имена «Рыберы» и «Булдея» – своеобразный лейтмотив «Дела». Они постоянно всплывают на допросах и тем упорнее, чем выше положение допрашиваемого, особенно в церковной иерархии. Евфимий Колетти, в глаза не видел подметной «тетради», но он переводил «Книгу Рыберину» с латинского на русский и посылал ее для проверки какому-то патеру. Три года в «застеночных» допросах выясняются обстоятельства эти, чтобы в конце концов лишить Колетти и священнического сана, и монашества. Его, архимандрита Чудовского монастыря в московском Кремле, обвиняют ни много ни мало в «поноше-

нии и укоризне российской нации». И это человек, который безоговорочно и давно отнесен историками к клике религиозных московских фанатиков! Впрочем, и его портрет рисуется совсем не просто.

Грек по рождению, Колетти встретился на Западе с одним из видных русских дипломатов петровского времени, Платоном Мусиным-Пушкиным, и по его приглашению приехал в Россию в качестве преподавателя Московской славяно-греко-латинской академии. Ему было доверено находиться в свите царевича Алексея, с которым Колетти совершает и, заграничную поездку. Но если говорить о его роли при незадачливом сыне Петра, то это не роль сторонника царевича, – недаром после смерти Алексея Колетти не только не вызывает царского гнева, но быстро продвигается по лестнице чинов, приобретает прочное положение среди высших церковных сановников. Светский образ жизни, который он ведет в Москве и время от времени в Петербурге, позволяет ему принимать многочисленных высокопоставленных гостей, иностранных дипломатов, вплоть до послов и секретарей посольств, самого автора книги, пресловутого «Рыберу». А переписка Колетти, которую он ведет чуть ли не со всеми странами Европы, с оставшимся в Греции отцом, «по приватным делам» с Берлином, с Польшей!

«Знает ли он, какое было Рыберы намерение сочинять и переводить оную книгу, или кое намерение в том же было других неких персон здешних или иностранных» – сама по себе постановка вопроса, предложенного архимандриту Платону Маевскому, говорила о том, что в богословском сочинении усматривался особый смысл, который один, по существу, и вол-

новал Тайную канцелярию. В то время как историки церкви и богословы увлеченно анализировали теологическое содержание полемики, развертывавшейся на листах «Дела Родышевского», этот смысл все дальше и дальше уходил из поля зрения исследователей, теряясь за богословскими гипотезами, посылками, доказательствами. Его не пытались доискиваться, и о нем забывали.

Формально история полемики имела самодовлеющее значение. В 1728 году привлеченный впоследствии по «Делу Родышевского» тверской архиерей Феофила Лопатинский издал известное сочинение русского богослова XVIII века Стефана Яворского «Камень веры», обращенное против протестантизма. Не уступавший Прокоповичу в образованности и ораторских способностях, Лопатинский был, по существу, основным его соперником и в отношении первенствующего положения в русской церкви. «Камень веры» явился очередным ходом в их ожесточенной борьбе. Поэтому в следующем же году за рубежом выходит книга протестантского священника Буддея, содержащая резкую критику Яворского. Характер приводимых в ней доказательств и их направление заставляли подозревать руку непосредственного участника внутренней русской полемики. Лопатинский и его сторонники называли самого Прокоповича. По имевшимся у них сведениям, действительный автор книги воспользовался именем умершего человека. На допросе по «Делу Родышевского» тверскому архиерею предлагается прямо ответить: «По приезде к тебе Маевского в Твери в Тресвятское тому Маевскому слова такие, что Буддей до издания реченной книги представился, и по всему штилю признаешь ты, что оную книгу писал новгородской архиерей, и он-то,

де Буддей, говорил ли...» Какое значение это могло иметь для Тайной канцелярии? И тем не менее тайный сыск ожесточенно продирается сквозь дебри толкований христианских догматов.

Ход Прокоповича не остается без ответа. Группа Лопатинского решает действовать, подобно ему, через посредство других лиц. На этот раз им предлагает свои услуги состоявший при испанском посольстве монах-доминиканец патер Рибейра. Он пишет специальное сочинение, опровергавшее посылки Буддея. По указанию Колетти книга переводится на русский язык учениками московской Заиконоспасской академии. Барсов предоставляет возможность ее публикации в своей типографии. Вся подготовка ведется в глубокой тайне, без лишних людей. Для участников издания книги Рибейры было очевидно, что преждевременное разглашение вызовет реакцию не одного Прокоповича – с ним бы они и не стали считаться, занимая не менее высокое положение и пользуясь едва ли не большим влиянием, – но главным образом правящих кругов. Настоящим динамитом, заложенным в сочинении испанского монаха, были рассуждения о законности занятия престола теми или иными монархами. Сама идея абсолютности монаршей власти оказывалась поколебленной, допускалась возможность замены, выбора, которые, само собой разумеется, совершались не просто божьим произволением, но усилиями многих и многих людей. Рассуждения о православии, лютеранстве, особенностях католических монашеских орденов – и рядом черным по белому вопросы престолонаследия: кто должен занимать по праву не какой-нибудь, а российский престол? Имя Анны Иоанновны при этом не называлось. Зато постоянно произносится имя

Елизаветы Петровны рядом с малолетним сыном ее старшей сестры. Об этом толкуют между собой Колетти и Лопатинский, Колетти и Маевский, Маевский и Осип Решилов. Так вот она действительная причина интереса Тайной канцелярии к «ростриге» и тем, с кем ему приходилось так или иначе вступать в общение!

Собеседники фактически ставят под сомнение не только права Анны Иоанновны, они доказывают незаконность решения ею вопроса о дальнейшем престолонаследии. Маевский бросает тень на Анну Леопольдовну, племянницу императрицы, «примечая», что она продолжает придерживаться лютеранства, а это для матери будущего наследника российского престола недопустимо. Еще откровеннее разговоры Лопатинского с Решиловым: они касаются и «сомнительных обстоятельств смерти Петра I», и необходимости нового правителя, и хлебных недородов, обрекавших страну на сплошной голод. Нет, совсем не так прост был и бывший монах Троице-Сергиева монастыря «рострига» Осип. Вряд ли просто обстояло дело и с его ближайшими родственниками, двоюродными братьями живописцами Никитиными.

«Всемиловейшая государыня,

вашего императорского величества всемиловейшей государыни указ из Санктпетербурха от 8 августа 13 числа пополудни в 7 часу с нарочно посланным лейбгвардии солдатом я рабски принял. По которому всемиловейше изволили указать мне, рабу вашему, Романа Никитина взять под караул и ехать мне самому к нему немедленно на двор. А по взятии ево

осмотреть в доме ево и в доме Ивана Никитина всякие письма: и что писем найдется, все запечатав, прислать, и Романа Никитина за крепким караулом в Санктпетербурх к вашему императорскому величеству всемиловейшей государыне, а в домех их поставить крепкой караул; и к жене ево допускать никою не велеть. И по тому вашего императорского величества всемиловейшей государыни указу того ж часу я к ним Никитиным на дворы сам ездил и Романа Никитина под караул взял, а всякие у них письма пересматривал при себе – и сколько у оных Никитиных в обеих дворах при сем было, все оные собрал в два сундука, а на тех дворах поставил крепкой караул, и к жене Романа Никитина никою допускать не велел и оного Романа Никитина за крепким караулом послал в Санктпетербурх лейбгвардии Преображенского полку с сержантом Кутузовым, придав ему четырех человек солдатка сколько у оных Никитиных писем найдено: оные собрав один сундук Ивана Никитина, а другой сундук Романа Никитина и, запечатав своею печатью, оба сундука послал к вашему императорскому величеству всемиловейшей государыне с оным же сержантом Кутузовым

*вашего императорского величества всемиловейшей
государыни нижайший раб Семен Салтыков в Москве
августа 14 дня 1732».*

Итак, последовательность событий. Двенадцатого августа Анна Иоанновна отдает распоряжение о перевозке в Петербург всех задержанных по списку Ионы-Осипа, но четырьмя днями раньше, еще восьмого числа, она высылает личное письмо – не указ Тайной канцелярии! – Семену Салтыкову об аресте Романа



Никитина, требуя незамедлительных действий. Этому распоряжению предшествовало другое событие – арест Ивана Никитина, последовавший в Петербурге, где художник в то время находился, судя по документам сыска, еще с марта месяца. Иван – Роман – «свидетели» Ионы, и притом личное участие императрицы, ее собственный напряженный надзор, когда Даже Тайная канцелярия не заслуживает полного доверия. Анна сама хотела говорить с Романом, сама хотела ознакомиться с находившимися у художника письмами. Чем бы ни руководствовалась самодержица, ясно, что она предпочитала первой узнать содержание никитинской переписки и, может быть, какую-то ее часть уничтожить. Спрашивается, зачем было императрице заниматься подобной цензурой, когда существовал специальный тайный сыск? Но как иначе объяснить, что из тех двух сундуков, которые выслал лично Анне Семен Салтыков, ничего не сохранилось? В «Деле Родышевского» всего лишь три письма, поступивших, как свидетельствуют даты, во время пребывания обоих братьев в заключении.

О каких именах думала Анна, какой огласки пыталась избежать, какую правду узнать? Императрица специально побеспокоилась о том, чтобы письма изымал и запечатывал сам Салтыков, человек, лично ей преданный, и никто другой из сотрудников сыска. В сохранении тайны, во всяком случае, Анна Иоанновна слишком заинтересована, и опасность, связанная именно с Никитиными, представляется ей, по-видимому, реальной и серьезной. Письмо Салтыкову говорит и о том, что она хорошо знает братьев, ориентируется в их семейных обстоятельствах: распоряжение касается жены Романа, которая дей-

ствительно существовала, и не упоминает никаких членов семьи Ивана, к этому времени жившего в одиночестве. Впрочем, не совсем так. В доме Ивана Никитина в приходе Ильи Пророка на Тверской находился, по свидетельству документов, его родной брат Родион. Родион также оказался в застенках канцелярии. За ним последовал муж единственной сестры Никитиных, Марфы, – Иван Артемьев сын Томилов.

Проходят первые месяцы. Однообразные, с механическим упорством повторяющиеся вопросы о «тетрадах» разнообразятся для обоих художников не менее упорными вопросами о содержании писем, которыми они обменивались. Причем обменивались незадолго до ареста. Написанные по-итальянски, они к тому же построены на оборотах, которые не позволяли установить их подлинный смысл, а художникам давали возможность предлагать свою интерпретацию содержания.

Братьев насторожило возобновление розыска по «Делу Родышевского» и привоз в Петербург Ионы. Иван поехал в столицу выяснить положение и поспешил предупредить оставшегося в Москве Романа о необходимости унести из дома целый ряд заранее ими намеченных вещей и уничтожить некоторые компрометирующие их документы. Пользуясь удобной ширмой, какую представляли из себя подметные «тетради», они согласно уверяли, что именно один такой экземпляр, еще с 1730 года затерявшийся в библиотеке Ивана и им забытый, составлял предмет их беспокойства: никаких дополнительных фактов, имен, событий. И Никитиным пришлось бы поверить, если бы не неожиданное обстоятельство.

Спустя более полугода после ареста Ивана в руках Тай-

ной канцелярии оказываются написанные разными адресатами два письма – одно по-латыни (Никитин свободно владел и этим языком) с довольно обширным текстом и небольшая «цедулка» по-итальянски. Оригиналы в деле отсутствовали, их заменяли переводы, размытые и затертые так, что добрая половина текста была безвозвратно потеряна, а спотыкающийся, далекий от эпистолярных тонкостей язык переводчиков Иностранной коллегии делал их и вовсе труднодоступными.

Итальянская «цедулка» представляла жалкий обрывок:

«в цедулке строне...

можете вы письмо...

Кремера сюда адрес...

бываю, наш господин...

особливо мне добре...

в том уже мне учредить приказать».

По сравнению с ней латинский перевод отличается почти обстоятельностью: «Зело мне шляхетный господине и любезный приятель Поса... надож... после мнения отъехал из Москвы за особливую протекциею и милостию сиятельного князя господина кавалера Потоцкого во течение д < ...> я места... мои письма... посылал, на кого... не имея ответу... те письма не дохо... вашей милости... отсылаю мое письмо... ей милости имею надежду... дойдет до рук вашей милости... меня принадлежит, в доброту... за милосердие господа бога... и за протекциею святых патронов пребываю в доме сиятельнейшего князя господина бискупа краковского; токмо желаю дабы с почтенного вашего письма о нынешнем пребывании... и... також от драж...

госпожи Анны Юшковой и з детками...» Далее отсутствовал большой кусок листа, а затем следовало окончание: «Нижайший мой поклон отдать и... господам баронам Строгановым и сиятельнейшему князю Василию Петровичу Голицыну. Мы разных послов на коронацию нового короля польского и, между тем, посла императрицы российской... дает которой ежели к нам... мои письма... известие... интереса впро... також та... днесь к неко... желательных... петербургской... от которого ласкового... более за красных... до известия... имею, токмо господам... и всем добрым приятелям... мое здравие... поздравить с которыми на самого себя приязни и любви препоручаю

Есмь непременно шляхетного господина и доброжелательного приятеля... доброжелательный... слуга... в Кракове... Г. Грабнецы з Розенбергу».

Перевод сделанной на обороте письма надписи гласил: «господ... китин... Троицы... Юшкова».

Преисполненный службистского усердия, А.И. Ушаков немедленно по получении переводов торопится показать их императрице, которая, как гласит запись в Тайной канцелярии, «соизволила указать означенные письма и цедулку иметь в тайной канцелярии и объявленного живописца Никитина о тех письмах расспросить». Допрос, который вел сам Ушаков, состоялся в тот же день.

«А в роспросе оной Никитин сказал, объявленные де ему два письма да цедулка, писанные по-латыне и по-итальянски, ис которых одно письмо подписано на имя его Никитина, писанное ис Кракова марта от 21 дня сего 1733-го году от Грабнецы а Розенбергу о уведомлении ево о здравье некоторых пер-

сон и о прочем, да другое письмо, писанное же от Гиссена занобы об отсылке к нему Никита письма и о прочем же; да цедулка, писанная ж о некотором предстательстве (о чем явно в оных письмах и цедулке), чьих де рук те письма, також де и оных Грабнецы и Гиссена, кто они таковы и где они имеют место жительства, и о показанном в оных письмах, с какова виду к нему Никитину писаны, не знает и случаю де такова со оными людьми он, Никитин, не имел и писем от них наперед сего никаких писано ему не бывало. Он де, Никитин, сам к ним не писал, и по письмам тех людей предстательства никакова он, Никитин, не имел». Листы протокола завершала категорическая подпись: «Иван Никитин руку приложил».

Провокация Тайной канцелярии или расчет художника? В первом случае позиция Никитина понятна, во втором представляется нелепой: зачем категорически отказываться от самых обыденных, ничего не значащих писем поклоны, приветы, вопросы о здоровье... Но именно это соображение заставляло задуматься над тем, так ли уж действительно безобидны отвергнутые художником письма, к тому же для провокации их слишком много, а смысл слишком туманен.

Прежде всего имена. С одной стороны, Анна Юшкова, «дражайшая Анна Федоровна» – любимица и доверенное лицо императрицы. Оказывается, Никитин знаком с ней, и притом настолько хорошо, что «Грабнецы з Розенбергу», потеряв надежду переслать письма художнику, выбирает ее как наиболее верного посредника. Он даже считает долгом передать Юшковой «и з детками» особый поклон – лишнее доказательство, что Никитин располагал хорошими связями и при новом дворе.

Труднее с Крамером. Фамилия эта, писавшаяся иначе Крамер или Крамерн, была достаточно распространена среди выходцев из завоеванной Петром Нарвы. Ряд ее носителей служил в русском флоте, и в том числе братья небезызвестной Анны-Регины, служительницы Екатерины I. Подобно ей, они связаны с придворными кругами, бывают в Петербурге и Москве. Положение Анны-Регины не отличалось ясностью. В годы правления Екатерины I ей было поручено наблюдение за дочерью царевича Алексея – Натальей, не по летам развитой и властной девочкой, пользовавшейся исключительным влиянием на своего младшего брата, предполагаемого наследника престола. Крамерн не просто справилась с заданием. Она еще сумела войти в доверие к царевне и после коронации Петра II остаться в ее штате. Император быстро забывает о сестре, и в момент смерти Натальи Алексеевны в декабре 1728 года у ее постели во дворце имеретинских царей, в подмосковном селе Всесвятском, находится одна Анна-Регина. Это обстоятельство становится предметом особого беспокойства новых фаворитов царя. По-видимому, Крамерн к тому же была обстоятельно посвящена в дворцовые тайны, слишком многое знала. Ближайшее окружение Петра II добивается указа о ее высылке из Москвы.

Биографы ошибались, утверждая, что, потеряв «нежно любимую ею царевну», Крамерн не думала возвращаться ко двору и остаток своей жизни провела в добровольном одиночестве. Бумаги Кабинета свидетельствуют об ином. У Анны-Регины существуют живые связи с новой императрицей, которая оказывает ей особое внимание. Ни одна просьба Крамерн не остается неудовлетворенной, и ради нее склонная к безудержно-



му ханжеству Анна Иоанновна готова поступиться всеми внешними нормами морали и благочестия. Замешанный в громкий скандал, грозивший каторгой, брат Крамерн именно в это время, благодаря снисходительности императрицы, освобождается ото всех неприятностей. Очевидно, имя оправданного Фридриха Крамерна в тексте никитинской «цедулки» упоминалось как имя возможного посредника в переписке.

О затруднениях с корреспонденцией говорит и Г. Грабнецы, пытающийся переадресовать ее Юшковой, и барон Гиссен, чье написанное по-французски письмо было предъявлено Никитину, но не сохранилось в «Деле».

Гиссен, Гиссен, Гизен – так по-разному писалась в русской транскрипции фамилия голландца Гюйзена, в прошлом гофмейстера царевича Алексея. В 1706 году английский посланник в России сообщал о первых шагах этого начинавшего приобретать в государственной жизни влияние человека: «Царь намерен отправить кого-нибудь в Англию. Он очень затруднялся выбором лица для такого поручения; наконец, остановился на одном немце, Гюйзене. Он прежде состоял учителем голландского языка при молодом царевиче Алексее Петровиче, в марте же 1705 года отправлен был в Берлин, оттуда в Вену, где, полагаю, лорд Рэби и сэр Степней знали его, потому я не стану утомлять вас его характеристикой, замечу только, что главный покровитель Гюйзена – любимец царский Александр Данилович [Меншиков]. Официального звания он носить не будет, как не носил его при дворах, при которых состоял прежде».

Гюйзен сохраняет расположение Петра и после смерти царевича Алексея. Современники охотно вспоминают о его не

лишенных дарования стихотворных опытах, которые он посвящал победам русского оружия, но действительная служба Гюйзена при дворе связывалась по-прежнему с секретными дипломатическими поручениями. Они приносят ему титул барона и значительные денежные суммы, за выплатой которых Петр считает долгом самолично следить. В изменившейся обстановке Гюйзен был сторонником вступления на престол прямых наследников Петра, безусловно не симпатизируя ни самой Анне Иоанновне, ни тем более «курляндской партии». Кто знает, просто ли затерялся или оказался своевременно изъятым из дела текст его письма...

Таковы те, кого знал и с кем сталкивался Иван Никитин. Все имена слишком хорошо известны, и это вызывает тем большее недоумение. Почему Тайная канцелярия требовала от художника их расшифровки – указания подобных имен, чинов, места жительства – и почему, в свою очередь, Никитин отказывался от всякого знакомства с этими лицами, когда установить факт подобной связи не представляло никакого труда. Правда, тайный сыск придерживался правила, чтобы допрашиваемые сами называли новых участников, и только после этого тех арестовывали или привлекали к допросам, но о каких правовых нормах можно говорить в отношении России первой половины XVIII века! Поскольку дело касалось слишком влиятельных и значительных по общественному положению людей, правящая группа скорее считала более разумным формально принять версию Никитина, что никого из них он не знал и в переписке ни с кем не состоял. Этот вопрос решался ближайшим окружением императрицы.

Последним оставался «Г. Грабнецы з Розенбергу». Так ли звучало имя никитинского корреспондента в действительности или было результатом фантастической транскрипции канцеляристов Иностранной коллегии, но обнаружить его в материалах петровского времени и тридцатых годов не удавалось, хотя круг знакомств Грабнецы позволял на это рассчитывать. Самый оборот «з Розенбергу» говорил, казалось, о польском происхождении, указывая на место, откуда был родом данный человек. Однако подобного названия на польских землях XVIII века не встречалось. Вместе с тем непольское звучание фамилии Грабнецы заставляло скорее предполагать, что в основе ее лежит латинское имя, одно из тех, которые носили монахи католических орденов. Наконец, единственный Розенберг, который все же удалось обнаружить, оказался нынешним курортом Кемери на побережье Рижского залива. В Курляндии с начала XVI века существовал и владел землями баронский род, носивший подобное имя. Совершенно ясно, что связать «Г. Грабнецы з Розенбергу» с православными религиозными фанатиками было невозможно. Искать разгадку этого человека приходилось иным и очень своеобразным путем.

Письмо Грабнецы написано в Кракове 21 марта 1733 года. Судя по содержанию, автор приехал туда непосредственно из Москвы, но, несмотря на несколько попыток, не сумел установить контакта с Никитиным. По крайней мере два письма предшествовали тому, которое оказалось в Тайной канцелярии. Каждое из них около двух месяцев находилось в пути – столько времени требовалось для преодоления расстояния от Москвы до Кракова, – столько же Грабнецы ждал ответа.

Вместе с последним мартовским письмом это составляло в общей сложности около десяти месяцев, а учитывая путешествие самого Грабнецы, – почти год. Иными словами, корреспондент Никитина оставил Москву в начале 1732 года. Грабнецы вспоминает о протекции и помощи «сиятельного князя и кавалера» Потоцкого. Нет сомнения, что речь идет о «мятежном подстолии» – польском после, которому пришлось покинуть столицу по предложению Анны Иоанновны. Его прощальная аудиенция при дворе состоялась как указывают камер-фурьерские журналы, 14 января 1732 года. Именно Потоцкий и был «кавалером» – двумя годами раньше он приезжал поздравлять Анну Иоанновну с вступлением на престол от лица польского примаса и получил от новой императрицы Андреевскую ленту. Грабнецы не принадлежал к посольской свите, но пользовался достаточным доверием посла, чтобы не только совершить с ним путешествие, но и остановиться в Кракове в доме его дяди, «бискупа Краковского».

Оставалось ответить на главный вопрос, что могло заинтересовать персонных дел мастера Ивана Никитина в польских новостях, о которых с таким упорством пытался поставить его в известность Грабнецы. Простое любопытство отпадало: слишком специфическими были подробности, приводимые в письме, – речь шла о выборах нового польского короля. Тем более трудно предполагать какие-либо личные связи. На них не указывало ничто из того, что удалось узнать раньше о художнике. Никитину не свойственны даже те польские обороты, которые употребляли в письме многие из его современников, так или иначе связанные с Украиной и украинскими учебными заведе-

ниями, особенно с духовными академиями. Нет поляков и в окружении художника, которое со скрупулезной тщательностью постаралась выяснить Тайная канцелярия. Зато от Польши во многом зависела прочность положения Анны Иоанновны. В той сложной политической игре, которая еще далеко не была выиграна новой императрицей – пусть ее коронация и состоялась, – поддержка польского монарха, прямой союз с ним приобретали первостепенное значение, и наоборот, враждебная установка правительства Польши давала дополнительные шансы противникам Анны. Все зависело от предстоящих королевских выборов.

Для России вопрос внешнеполитический очень тесно переплетался с вопросами внутригосударственными, а они-то и волновали по-настоящему Ивана Никитина. Права Анны Иоанновны – станет ли она самодержицей со всей полнотой ничем не ограниченной власти или вынуждена будет подчиниться еще не введенным, но возможным законом в пользу подданных, – факция думала сейчас только о них. Упущенный момент означал полный проигрыш, переиграть который было невозможно. Время до открытия сейма становилось решающим для всех заинтересованных сторон. Приобретение сторонников, выяснение предпринимаемых министрами Анны ходов, подготовка к которым велась в глубочайшей тайне, контрдействия – все зависело от исчерпывающей, точной и своевременной информации. Очень возможно, что «Г. Грабнецы з Розенбергу» непосредственно связывало с Никитиным и его единомышленниками стремление противостоять задуманному Анной провозглашению властителем Курляндии Бирона, крайне непопулярного

родных краях. Во всяком случае, он охотно и убежденно взялся служить источником информации и упорно добивался ее передачи в руки Никитина. Не вина Грабнецы, что это не удалось.

Письмо опоздало. Теперь, спустя много месяцев после ареста участников «Дела Родышевского», оно могло принести только вред тем, кому еще недавно было так необходимо. Могло принести, но не принесло, потому что Иван Никитин, именно он, отказался говорить. Художник не изменил своему решению долгих пять лет одиночного заключения и почти ежедневных допросов, не назвал ни одного имени, не выдал ни одного из тех, с кем общался. Ответом на самые злокозненные, сочиненные Феофаном Прокоповичем вопросы, на все душевные и физические испытания служило «нет», категорическое, неумолимое, почти торжествующее. Десятки людей получили снова свободу, десятки отделились самым ничтожным – из-за недосказанности вины – наказанием. То, что больше всего необходимо было знать Анне и ее ставленникам, осталось скрытым.







КЕМ БЫЛ «НЕПТУН»

Сегодня об этой стороне жизни военной Москвы не упоминает никто. Из-за недостатка материалов? В 2000-м вышло полное и очень добросовестно проработанное издание материалов московских архивов с воспроизведением полного, безо всяких регестов, текстов документов. Многие здесь представляются действительно невероятным.

Вопрос об эвакуации Москвы был поставлен в ПЕРВЫЙ же день войны. Руководитель тотальной эвакуации – Алексей Николаевич Косыгин. Были вывезены промышленные предприятия, учреждения, учебные заведения, театры. Школы закрыты.

Сначала старшеклассники, начиная с 7-х классов выехали на оборонные работы. Вернувшись в Москву, были вывезены на уборочные работы – в виду того, что колхозы эвакуировались, урожай оставался в земле, и школьники во многом предотвратили голод в столице. С января 1942-го последовало указание Сталина при всех домоуправлениях оборудовать теплые помещения с письменными принадлежностями, где семии десятиклассники могли самостоятельно готовиться к будущему учебному году. Поскольку самые учебные заведения находились в эвакуации, в столице создавались их заочные заведения. Полный набор в вузах оказался обеспеченным, как и в техникумах.

Об особенностях программы искусствоведческого отделения мне расскажет со временем новый декан филологического факультета академии Виктор Владимирович Виноградов. Мы не только жили рядом. Супруга академика Надежда Матвеевна Малышева поддерживала дружеские отношения с профессором Григорием Петровичем Прокофьевым, создателем и руководителем Центральной научно-экспериментальной музыкальной лаборатории при Московской консерватории. Они вместе кончали фортепьянный класс профессора Игумнова. Для Надежды Матвеевны я была ученицей Прокофьева. Сама она концертирующей пианисткой не стала, работала в театрах, а после кончины мужа давала уроки постановки голоса. Одна из ее учениц – Любовь Казарновская.

Академик Виноградов в 30-х годах был осужден, находился в заключении, но когда встал вопрос о создании грандиозной выставки к 100-летию гибели Пушкина, его привлекли к работе по решению Сталина. «Шарашка» для Виктора Владимировича выражалась в том, что каждое утро из города Александрова молчаливый человек с оружием вез его в Москву, в экспозиционные залы (центральное место здесь занимал Государственный Исторический музей). Все время работы «человек с ружьем» находился в одной комнате с Виноградовым, а затем, также молча препровождал осужденного в Александров.

За пушкинским юбилеем последовало назначение Виктора Владимировича деканом филологического факультета, квартира в Доме Моссельпрома, на углу Калашникова и Малого Кисловского переулков. Но самым ошеломляющим был выход газеты «Правда», где одну сторону внутреннего разворота

заняла статья «вождя и учителя» о языкознании, другую – материал на ту же тему академика. Но, к сожалению, к чистке, происходившей на его факультете у искусствоведов, он отношения иметь не захотел. Зато его как бы общий комментарий говорил сам за себя.

Виноградов рассказывал, что в Московском университете специальность искусствоведения была ликвидирована как «аполитичная» и «классово чуждая» строителям нового общества. Именно тогда лишились возможности работать с молодежью все ведущие специалисты от Игоря Грабаря, А.В. Бакушинского, В.А. Никольского, А.А. Сидорова и других. Былой историко-филологический факультет продублировала вновь созданная, по выражению Виктора Владимировича. «Школа красных комиссаров» – ИФЛИ, где история заменялась пресловутым краеведением, а искусствоведение вошло в учительскую специальность обществоведения.

Об этих новых установках готовить школьных учителей подробно и увлеченно рассказывал в нашем доме специалист по В.Я. Брюсову профессор Яков Зунделович. Его жена, редкая красавица, была однокурсницей моих родителей по Бауманскому институту. Родные Бэллы Исидоровны жили в Польше, и ее оживленная переписка с ними, как говорили, стала причиной ареста обоих супругов в 1937 году. Их единственную дочь, мою ровесницу Манечку – случай почти невероятный! – соседям удалось затолкать в чулан во время процедуры обыска и ареста и после отъезда «воронка» выпустить ночью на улицу. У девочки были родные в Иванове, соседи посоветовали всеми правдами и неправдами добраться до них, чтобы не попасть в детдом



для «лишенцев». Через много лет Манечка с ужасом рассказывала о той ночи, когда в лютый мороз, добиралась до вокзала, как упростила «добрых теток» с мешками спрятать под полкой вагона и добраться до родных. Позже на Урале работала на заводе. В цеху вместе с мужем.

Маня верила, что пусть через много лет семья соединится. Родители действительно пережили концлагерь. Но профессор осел в Средней Азии, где начал преподавать то ли в институте, то ли в университете, создал новую семью со своей аспиранткой. Одна из первых советских женщин инженеров-слаботочников Бэлла Зунделович, постаревшая до неузнаваемости, умерла от туберкулеза в городе Александров.

Программа первого года обучения университетских искусствоведов. Советское искусство – лектор зав. сектором из Старой площади Поликарп Иванович Лебедев, ради благозвучия переименовавший себя в Александра. Никакого введения из Серебряного века, да и самого понятия эдакого века не существовало. Запомнился первый слайд – Борис Яковлев «Транспорт восстанавливается». Художники левой направленности в принципе отсутствовали. Тот же курс будет повторен и на четвертом курсе (иными словами, в обстановке после окончания войны) в интерпретации Г.А. Недошивина. Он же вел курс «Описания и анализа памятников», сменив после первых лекций изгнанного из МГУ М.В. Алпатова. Он же читал первобытное искусство. Четвертой позицией были основы марксизма – ленинизма, которые читал зав. объединенной кафедрой предмета всех факультетов МГУ Сарабьянов-старший, «Глухой», как его называли студенты, отец будущего зав. кафедрой

русского искусства на историческом факультете МГУ Д.Е. Сарабьянова. Пятой – Музееведение – без знакомства с музейной практикой, так называемым «аудиторным методом».

А ведь возможность практики существовала. В Москве остался невывезенный (из-за обширности фондов) один из богатейших по числу экспонатов музеев страны – Государственный Исторический. И очередной заговор молчания. ГИМ был не только открыт ежедневно, с удлинненным днем и бесплатным входом. Также бесплатно проводились экскурсии, собиравшие множество молодежи и школьников. Самое любимое (теплое!) место для бесед, споров, просто свиданий.

Но настоящим сокровищем были сотрудники ГИМа. Казалось бы, неприметные, исчезающие в бездне своих сокровищ, но на самом деле готовые на любой совет, справку, обладавшие теми знаниями, которых еще не успели вместить в себя никакие справочники. Так сложилось, что моей наставницей стала Марфа Вячеславовна Щепкина, исключительный специалист по древней книге, но и знаток всего хозяйства музея. Прямая правнучка великого артиста, она открыла для меня удивительнейший мир галерей бывшего читального зала, где штабелями, прикрытые обычной для тех лет грубой оберточной бумагой, стояли сотни живописных полотен.

Отдел бытовой иллюстрации в действительности открывал всю Россию, духовную и бытовую жизнь сотен и сотен людей, известных и неизвестных, но всегда очень по-своему увиденных художником. Среди авторов не числилось знаменитых имен, но это была живописная культура всего народа и чисто русская особенность – стремление уловить характер человека.

Независимо от мастерства и выучки живописца. День, когда можно было подняться на галереи, пристроиться на хромоногой табуреточке с блокнотом на коленях и начать один за одним брать в руки старые холсты был самым счастливым, но главное вводящим в собственно искусствознание днем.

А еще рассказы Марфы Вячеславовны. Внутри тех самых видных с Красной площади угловых башенок, в которых возникало удивительное ощущение ухода от современности в прошлое.

Ты и разлив Красной площади, в то время всегда пустынной. В ГУМе работали учреждения. Выхода из него на площадь не было. Мне оставалось угадывать окна папиного треста «Мосэнергомонтаж», обеспечивавшего профильными заказами не только всю Москву – от жилых зданий до заводов-гигантов, но и крупнейшие стройки страны. Трест занимал первую и вторую линии ГУМа на втором этаже. Перед праздниками в нижних витринных окнах ГУМа выставлялись проекты задуманныхстроек и – в отличие от всех стран мира – почему-то ни на минуту не прекращавшейся реконструкции города. О давней истории свидетельствовал только Василий Блаженный, рисовавшийся на фоне лиловой дымки Зарядья и Замоскворечья, Лобное место, которое и по сей день продолжают называть местом казней, хотя «лоб» означал лишь крутояр речного берега, а с этого места всего-навсего провозглашались царские указы. Еще стоял на своем месте памятник Минину и Пожарскому с гражданином Мининым, указывающим не на Тверскую дорогу, – на Кремль, который народное ополчение обязалось освободить.

Унаследовавшая от своего актерского рода умение рассказывать, ни на минуту не упуская из виду состояния слушателя, Марфа Вячеславовна говорила о первой библиотеке-читальне Василия Киприанова у Спасских ворот, о торге у ворот «печатными картинками» – гравюрами. Она постоянно повторяла: «Надо участвовать сквозь время. Не замыкается на сегодняшнем дне. В истории мы много обретаем, но не меньше и теряем, если речь идет о духовных ценностях. Как бы ни облегчала жизнь техника, она освобождает нам время не для внутренней жизни. Удобства, выгода освобождают душу от обязанности трудиться, а значит – творить. Творить добро и человечность».

Когда Марфы Вячеславовны не стало, ГИМ, зная нашу дружбу, ко мне обратился с просьбой о некрологе. В «Советской культуре».



К музейным запасникам надо привыкнуть. Сероватый полумрак. Густой, настоящий, на старой масляной краске, всегда будто зябкий воздух, нехотя разгорающиеся подслеповатые кружки ламп, еле отличимый (а может, он только кажется?) налет мягкой пыли. И картины – на полу в штабелях, прикрытые гремящими пересохшими полотнищами бумаги, на тесно составленных, затянутых сеткой стойках – без рам, без временного порядка, даже без названий. Подклеенный к подрамнику ярлычок с инвентарным номером и где-то у штабеля или на стойке пожелтевший, разлохматившийся листок с тополивыми пометками: такой-то номер, такой-то автор, назва-

ние. Никакой экспозиции, никакой торжественности и... ни с чем не сравнимое чувство первооткрывателя. Будто ты и на самом деле, первый, будто именно ты сумеешь увидеть то, чего не заметили другие. А впрочем, разве так не случилось?

...О картине не было известно ничего: она не имела ни художника, ни названия. То есть они, конечно, были когда-то, но живописец не оставил своего имени на холсте, и оно забылось, а сюжет стал определяться условно. Пожилой мужчина с гривой седых, падающих на плечи волос, с растрепанной бородой, в остроконечной короне и с трезубцем в правой руке. Конечно, не портрет. Скорее, изображение мифологического существа – бога морей Нептуна, как его называли римляне, или Посейдона – имя, которое он носил у греков. Это ему полагалось иметь длинные седые волосы, олицетворявшие потоки воды, корону в знак власти над всеми морскими стихиями и трезубец, способный в мгновение ока воцарять тишину на океанах или вызывать бурю. «Нептун» – так и был назван холст, хранящийся в запаснике Третьяковской галереи.

Третьяковка небогата живописью петровских лет. Сам Третьяков заинтересовался историей поздно да и специальными розысками не занимался. Все остальное пришло после революции путем случайных закупок. Другое дело – Русский музей, с самого начала рассчитанный на полную историческую обзор, пополнявшийся из неисчерпаемых фондов императорских дворцов. Наверное, поэтому москвичи неохотно обращались к петровской теме: не ездить же за материалом в другой город, когда своего, пусть иного, хоть отбавляй. Но мне постоянно приходилось работать в Ленинграде. Впечатления от живописи

начала XVIII, века были слишком свежи и ярки. Московский «Нептун» явно напоминал тех грубоватых, сильных людей с крупными лицами, могучими руками и упорным взглядом недоверчивых глаз, чьи портреты висели в Петровской галерее Зимнего дворца, встречались в залах Русского музея – современников Петра.

Скупые солнечные лучи сквозь переплетенные хитроумными решетками рамы церковных окон, теснота старого придела, путающиеся под ногами ступеньки – там был вход, там амвон, там иконостас. Что делать, Третьяковская галерея и поныне держит свои картины и скульптуры в бывшей церкви. И среди этого разнобоя картин, больших, маленьких, огромных, таких разных по времени, «почеркам» художников, сюжетам – лицо жесткое, сильное, почти суровое прошедшего большую часть своей жизни человека. Раз за разом, приходя в запасник, встречаясь с неприветливым взглядом человека в маскарадной короне; думалось, кем же мог быть этот бог морей. Нептуном увлекались в петровское время. Самый холст, особенности письма, примитивная еще его манера, очень общо намеченная одежда говорили о тех же годах. И, наверно, такие мысли так и остались бы мыслями между прочим, если бы однажды в архиве мне не попала на глаза опись имущества дворца в Преображенском – того самого, в котором жил Петр.

От царских подмосковных, тем более XVII века, дошло до наших дней слишком мало. Еще можно силой воображения воскресить дворец в Измайлове: как-никак сохранились его изображения на гравюрах тех лет и продолжают стоять сегодня памятью о нем ворота ограды, мост, собор, хоть и встроены



в нелепые унылые крылья николаевских казарменных богаделен. Можно представить себе дворец в Коломенском на пологом берегу широко развернувшейся реки, между остатками палат, стен, старого огорода и стремительно взметнувшейся ввысь свечки храма Вознесения – ведь существует же его превосходно выполненная и так часто воспроизводившаяся модель. А Преображенское – какие в нем найдешь ориентиры петровского времени?

Корпуса завода «Изолит», прозрачные павильоны метро, нестихающая суетня трамваев, сплошной, до горизонта, чертеж широко расступившихся высоких белесоватых, перепутанных паутиной балконов жилых домов. Правда, еще кое-где встретишь и рубленный дом с резными подзорами на покачнувшемся крыльце. Есть и речонка в заросших лебедой берегах. Но как и где поместить здесь петровский дворец?

Преображенское... Какой угрозой старой Москве без малого триста лет назад оно было! «Потешные», первый ботик на Яузе, городок-крепость Прешбург, сражения – самые настоящие, с потерями, ранеными и убитыми, Преображенский приказ, из которого выйдут коллегии – прообраз министерств, дворец, где жил Петр, собирались первые ассамблеи, разудалые празднества Всешутейшего собора... Все тогда говорило о новой непонятной жизни, надвигавшихся год от года все более неотвратимых перемен... И вот теперь передо мной едва ли не единственная реальная память о дворце – опись, составленная в 1739 году.

Он был совсем простым, этот первый петровский дворец. Деревянные, ничем не прикрытые стены, дощатые полы, двери,

только в одной, самой парадной, комнате обитые алым сукном. Комнат немного, почти столько же, что и в обычном зажиточном доме тех лет. Передняя, столовая, спальня, зала для ассамблей, токарня с четырьмя станками, где Петр находил время работать чуть не каждый день, еще несколько помещений.

Из мебели обязательные дубовые раздвижные столы, лавки, иногда обтянутые зеленым сукном, иногда покрытые суконными тюфяками такого же цвета – зеленый в начале XVIII века был в большой моде. В столовой единственный шкаф – большая по тем временам редкость, к тому же сделанный в новом вкусе: «оклеен орехом, на середине картина затейная, над ней три статуйки». На стенах повсюду всякого рода памятки об увлечениях Петра – деревянные модели кораблей, подвешенные к потолку или поставленные на подставки, компасы простые, морские, использовавшиеся на кораблях, даже ветхий барабан. Рядом с зеркальцами в тяжелой свинцовой оправе множество гравюр – «картин на бумаге», как их называли, с изображениями морских сражений, кораблей, крепостей, а в зале к тому же целая галерея живописных картин – портретов. Они-то и заставляли подумать о «Нептуне». Да впрочем, иначе и не могло быть.

Опись 1739 года имела несколько вариантов. То ли составлявший ее чиновник не мог найти необходимых формулировок, удачных оборотов, то ли пытался переписать в окончательном виде без помарок. Во всяком случае, в одном варианте портреты перечислялись только частично, причем среди них фигурировал и «Нептун», но без имени изображенного лица. В другом варианте каждый из «бояр висячих», как называлась

вся серия, определялся очень подробно. Общее число полотен в обоих случаях оставалось неизменным. Не третьяковский ли это «Нептун»? Одно непонятно: как входившая в состав дворцового имущества картина могла оказаться в частных руках, откуда её и приобрела галерея? Оказывается, существовало обстоятельство, делавшее предположение о связи «Нептуна» с Преображенским дворцом достаточно вероятным, а поиск в этом направлении оправданным.

Преображенское постигла судьба, им самим predetermined. Родившиеся в подмосковном селе планы требовали простора, иных невиданных масштабов. Сначала воронежские годы – строительство флота, потом берега Невы – новая столица окончательно увели Петра из Москвы. На места, где проходила юность, не хватает времени, а лирические воспоминания не в характере людей тех лет.

Недавно отстроенный дворец забыт. Разбиваются стекла, протекают потолки, рассыхаются дверные косяки, по частям, как придется, вывозится в Петербург обстановка. Мебели и вещей в придворном обиходе постоянно не хватало, а Петр не склонен был увеличивать расходы на них. В Преображенское не возвращается ни юный сын царевича Алексея император Петр II во время своей жизни в Москве, ни тем более сменившая его Анна Иоанновна, предпочитавшая родовое гнездо своего отца – Измайлово и специально отстроенный дворец в Лефортове – Анненгоф. Из петровского дворца брали без счета и отдачи.

Да и дальнейшая история Преображенского оказывается недолгой. Остатки имущества и само здание вплоть до камен-

ного фундамента были проданы в 1800 году с торгов на слом и на вывоз. Тогда же некоторое число дворцовых портретов приобрел некто Сорокин, внук которого впоследствии передал их известному историку М. П. Погодину. Сюда и тянула ниточка от «Нептуна». Но тогда среди «бояр всяких» находился тот, кого изобразил неизвестный художник в виде бога морей.

Опись перечисляет «бояр всяких» неторопливо и уважительно: «Персона князь Федора Юрьевича Ромодановского, персона Никиты Моисеевича Зотова, персона Ивана Ивановича Буторлина, персона иноземца Выменки, персона султана турецкого, другая персона жены ево, персона Матвея Филимоновича Нарышкина, персона Андрея Бесящего, персона Якова Федоровича Тургенева, персона дурака Тимохи, персона Семена Тургенева, персона Афанасия Иполитовича Протасова...»

Для более поздних лет собрание в полтора десятка портретов не представляло ничего особенного. Но на рубеже XVII – XVIII веков портреты еще не имели сколько-нибудь широкого распространения в России. Живописцев, умевших их писать, очень немного, как невелика была и сама потребность в подобного рода изображениях. Интерес же к ним Петра носил и вовсе познавательный характер. Петра увлекала самая возможность создания подобия живого человеческого лица, и для этой цели живопись, скульптура, тем более снятая непосредственно с лица маска представлялись ему одинаково достигающими цели. В одном из своих писем от 1701 года он писал дьяку Виниусу о только что умершем своем соратнике Плещееве: «Сказывал мне князь Борис Алексеевич, что персона Федора Федоровича не потрафлена. Прошу вас изволте с лица ево сделать фигуру из



воску или из чево знаешь, как ты мне сказывал, о чем паки прошу дабы исправлено было немедленно».

Заказ на каждый новый портрет представлял собой определенным образом событие. Но в таком случае тем более обращал на себя внимание странный подбор изображенных на Преображенских портретах лиц.

Десять имен (не считать же султана турецкого с супругой!), десять очень разных, но и чем-то связанных между собой человеческих судеб. Среди лиц, изображенных на портретах, нет видных государственных деятелей, тех ближайших соратников Петра, к кому мы привыкли, кто действительно пользовался большой известностью. Почему Петр пожелал видеть в своем дворце именно эти «персоны», и притом в самой парадной и посещаемой зале? Если бы даже кто-нибудь из написанных заказал портрет по собственной инициативе, вопреки воле Петра, он не мог его повесить в Преображенском. Выбор должен был принадлежать самому Петру, а в этом выборе молодой царь, несомненно, руководствовался определенным принципом, вопрос только в том – каким. Видно, для того, чтобы разгадать «Нептуна», придется идти по пути исключения, пока кольцо не сомкнется - если удастся! – вокруг одного имени.

...Иван Иванович Бутурлин – первая, самая ранняя страница Преображенской летописи. Он всегдашний участник петровских игр, один из командиров «потешных». В только что сформированном Преображенском полку Бутурлин получает чин премьер-майора. Но детские шутки оправдываются делом. Молодой офицер прекрасно показывает себя в первых же боях. А в 1700 году, уже в чине генерал-майора, он приводит под Нар-

ву для сражения со шведами Преображенский, Семеновский и еще четыре пехотных полка, при которых в чине младшего офицера находился и сам Петр. Но здесь удача изменяет ему. Нарушение шведским королем Карлом XII своих гарантий стоило Бутурлину и целой группе русских командиров десяти лет шведского плена. Попытки бегства не удаются. Только в 1710 году Бутурлин возвращается в Россию. И снова военная служба, сражения с теми же шведами, участие в разгроме их флота при Гангуте, занятия кораблестроением. Но преображенский портрет мог быть написан только до шведского плена и, значит, до 1700 года. Для роли Нептуна, как и для всего облика мужчины с третьяковского портрета, Бутурлин тогда еще слишком молод.

Иное дело Ромодановский. Он управлял Преображенским приказом, командовал всеми «потешными» и регулярными войсками после того, как власть от Софьи перешла к Петру. А когда в 1697 году Петр отправился с Великим посольством в поездку, затянувшуюся без малого на два года, то доверил ему руководство государством, присвоив придуманный титул «князь-кесаря». По поручению Петра вел Ромодановский расследование вспыхнувшего в отсутствие царя стрелецкого бунта и наблюдал за находившейся в заключении царевной Софьей. Петр и в дальнейшем сохранил за Ромодановским всю внешнюю, представительную сторону царской власти, которой сам всегда тяготился, продолжал величать его и письменно, и в личном обращении царским титулом, строго требуя того же и ото всех остальных.

Мог ли Ромодановский оказаться Нептуном? Опять-таки нет. Судя по современным описаниям празднеств, в них

всегда принимал участие «князь– кесарь», занимавший наиболее заметное и почетное место. С какой же стати было писать его портрет в маскарадном костюме, которого он никогда не носил? Но это соображение, так сказать, теоретическое. Существуют и более конкретные доказательства.

Оказывается, изображали «князь-кесаря» достаточно часто – еще до получения им этого титула: в старорусском кафтане поверх легкого шелкового платья с длинными, заложенными за уши волосами и такими же длинными, по польской моде, усами (именно такой портрет и висел в Преображенском), и в качестве титулованной особы: в горностаевой мантии и латах, как того требовала в отношении царственных особ западноевропейская традиция. Ни на одном из сохранившихся портретов Ромодановский не имеет ничего общего с «Нептуном» – разный тип лица, разные люди.

Дело далекого прошлого, но нельзя не припомнить, что в Преображенские годы между Бутурлиным и Ромодановским существовала своя особая связь. Оба они возглавляли каждый свою часть сражавшихся между собой на показательных учениях войск. Отсюда первый получил от Петра шуточный титул «царя Ивана Семеновского», второй – «царя Федора Плешбургского»: по названию московских местностей, где располагались и откуда выступали их части. Наиболее известными маневрами, которые позволили окончательно убедиться в абсолютном превосходстве обученных новыми методами «потешных» над стрельцами, было так называемое «сражение под Кожуховом». Схватка оказалась серьезной: пятьдесят раненых, двадцать с лишним убитых, зато предположения молодых военачальников

подтверждались. «Шутили под Кожуховом, теперь под Азов играть едем», – писал спустя год Петр, откровенно признавая, что «Кожуховское дело» не было простым царским развлечением. Не эта ли связь с первыми серьезными выступлениями «потешных» послужила причиной написания оказавшихся в зале Преображенского дворца портретов?

...Письмо было неожиданным и необычным. Оно легло на мой стол большое, почти квадратное, расцвеченное множеством марок и штампами на нескольких языках «Просьба не сгибать» – Париж, улица Клода Лорена. Из разрезанного конверта выпали две большие фотографии. Известный собиратель и знаток русского искусства во Франции С. Белиц писал, что, прочтя последнюю мою работу по живописи XVIII века, хотел бы помочь мне французскими материалами, но, к сожалению, располагает пока сведениями о единственном портрете интересующей меня эпохи. С фотографии смотрело молодое мужское лицо с усами и бородой. Легкий поворот к невидимому собеседнику, умные живые глаза с припухшими нижними веками, характерный излом высоко поднятых бровей, готовые сложиться в усмешку губы. Никаких мелочей – простой опущенный мехом кафтан, сжимающая книгу рука. И внизу на белой ленте надпись: «Никита Моисеевич Зотов Наставник Петра Великого».

Самый текст (Петр получил от Сената титул Великого в 1721 году, много позже смерти Зотова), как и характер написания букв свидетельствовали о том, что надпись позднейшая, хотя и относящаяся тоже к XVIII веку. А вот портрет...

Второй снимок представлял оборот холста. Широкий грубый подрамник, крупнозернистое, как говорят специалисты,



редкое полотно, след небрежно заделанного прорыва. Белиц называл и размеры, очень маленькие, – 22 X 19 сантиметров. Конечно, делать окончательные выводы на основании одних только фотографий было опасно. Но все-таки скорее всего в Париже находилось повторение Преображенского портрета, того самого, о котором говорила опись.

Забавы, петровские забавы – какими сложными по замыслу и подлинной своей цели они были! То, что постороннему наблюдателю представлялось развлечением, подчас непонятным, подчас варварским, в действительности помогало рождению нового человека. Ведь люди были ещё опутаны предрассудками, представлениями, традициями и мерой знаний средневековья.

Прекрасно понимая смысл происходившего, поэт Александр Сумароков со временем напишет:

*Петр природу пременяет,
Новы души в нас влагает,
Строит войско, входит в Понт,
И во дни сея премены
Мещет пламень, рушит стены,
Рвет и движет горизонт...*

А Россия – и это соратники Петра великолепно сознавали – не могла ждать. Каждый день, каждая неделя в этой погоне за знаниями, за умением, за наукой могли обернуться невосполнимой или, во всяком случае, трудно восполнимой потерей. Надо было спешить, во что бы то ни стало спешить. Так появляются «потешные», вчерашние товарищи детских игр Петра, се-

годняшние солдаты российской армии, сражающиеся с турками и шведами, утверждающиеся на Неве. Так появляется Всешутейший собор, удовлетворявший не тягу к бесшабашному разгулу и пьянству, как опять-таки казалось иностранцам. Собор становился опаснейшим оружием борьбы с церковью.

Освященная веками, ставшая традицией, и притом традицией национальной, связанная со всеми поворотами русской истории, церковь была силой, но в руках судорожно цеплявшихся за старое попов, силой тупой, враждебной всяким преобразованиям. Ни Петр, ни его сподвижники не искали способов дискредитировать церковь вообще – им бесконечно далеко до атеизма. Но они хотели ослабить ее влияние, внести, в отношении к ней, ее установлениям и запрету элементы разума, сознательного отношения человека к религии, где «верую» не исключало бы «знаю» и «понимаю».

Идея собора разрабатывается в окружении Петра и при его постоянном участии в мельчайших подробностях с тем, чтобы в повторении привычных обрядовых форм подчеркнуть и предать осмеянию нелепые их стороны, чтобы с помощью смеха преодолеть силу привычки. Несмотря на все крайности, отметивший его историю, собор отличался по-своему не меньшей целенаправленностью, чем игры Петра с «потешными». Недаром и на первых шагах оба эти начинания тесно связаны между собой. В них участвуют одни и те же лица из числа «бояр всяких» Преображенского дворца.

Все было здесь как в настоящей церковной иерархии – от простых дьяконов до самого патриарха. Петр назывался всего лишь «протодьяконом Питиримом», зато главой собора – «ар-

хиепископом Прешпурским, всея Яузы и всея Кокуя патриархом» состоял его бывший, учитель Никита Зотов. Казалось бы, человек сугубо старого закала, приставленный в свое время к пятилетнему Петру для обучения письму и чтению по церковным книгам, как то полагалось в XVII веке, Зотов не только прекрасно понял необычные устремления своего питомца. Он нашел в себе достаточно сил и способностей, чтобы стать одним из наиболее верных его помощников. До конца своих дней Зотов ведал личной канцелярией Петра и вместе с тем до конца оставался душой всех затей Всешутейшего собора – «святейший и всешутейший Аникита». Он-то мог оказаться и Нептуном, и каким угодно другим персонажем. Только, вроде Ромодановского, и портрет, и самая роль главы Всешутейшего собора исключали подобную возможность: не Никита Зотов был изображен на третьяковской картине.

Когда после смерти Зотова в 1717 году происходило избрание нового «князь-папы» – еще один титул главы собора, то его именем уже пользовались как своеобразным символом. Преемник Зотова должен был произносить составленную Петром формулу: «Еще да поможет мне честнейший отец наш Бахус: предстательством антицесарцев моих Милака и Аникиты, дабы их дар духа был сугуб во мне». Несомненно, появление портрета Зотова в Преображенском было связано с собором и ролью «патриарха», тем более, что именно в этой зале происходили основные собрания участников собора. Все укладывалось в логическое и не вызывавшее сомнений целое. Оставался один Милака – имя или прозвище, фигурировавшее в формуле. Не имело ли оно отношения к «Нептуну»?

Письма Петра – многотомное издание, снабженное богатейшими комментариями, многочисленные изданные Документы тех лет, наконец, материалы так называемого «кабинета Петра» в московском Государственном архиве древних актов – ничто не давало никаких указаний по поводу Милаки. И все-таки это имя было мне знакомо!

Профессиональная память – особого рода память. Она живет жизнью, как будто независимой от занятий исследователя, ведет свой счет встреченным именам, датам, подчас ничтожнейшим событиям, раздражающим своей отрешенностью от темы, над которой работаешь. И тем не менее как часто именно она своими неожиданно раскрывавшимися тайниками приходит на помощь тогда, когда бессильны все логические рассуждения и дальнейшие поиски кажутся уже бессмысленными.

...Внутренняя лестница Русского музея. Узкие каменные ступени вокруг бесконечного столба. Белесый свет окон низко у пола. Обитая металлическим листом дверь. Хранение... Всего два года, как кончилась война. Специальных работников в хранении не хватало, и, оказавшись здесь в командировке, надо было в платке и халате самой отыскивать нужные холсты. И все-таки месяц одиночества среди картин – первая, аспирантская, и на всю жизнь настоящая встреча с XVIII веком. С утра до вечера, один за другим, большие и маленькие, мастеровитые и напоминающие лубки портреты – рассказ о художниках и людях тех лет. И сейчас в памяти одинокий свет лампочки, черные полукружия окон на парадную лестницу музея, сквозь них непонятные куски стеной росписи, кругом штабеля картин, и на одном из холстов удивительное, единственное в своем роде лицо. Могучий седею-

щий старик с крупными, властными чертами лица и яростным взглядом темных глаз из-под густых клочковатых бровей. Простой зеленовато-желтый кафтан, посох и словно впившаяся в него багровая рука. Суровая в своей простоте правда жизни, человеческого характера, времени. И как же он близок и по душевному складу, и по особенностям композиции, по самой манере живописи к «Нептуну»! У него даже имя было необычным – «Патриарх Милака». Тогда же я попыталась узнать, что оно означало, но инвентарь музея не давал никаких пояснений. Может, описка?

Теперь места для прежних сомнений не оставалось – написание имени дошло до наших дней неискаженным, зато полностью исчезла память о том лице, которое за ним скрывалось. Тем не менее в частной переписке 1690-х годов удалось найти упоминание о Милаке. Вслед за письмами и документы подтверждали, что носил это прозвище ближайший родственник Петра, его двоюродный дед по матери, Матвей Филимонович Нарышкин. Но ведь именно Матвей Филимонович Нарышкин, его «персона» занимала место среди «бояр висячих» Преображенского дворца! Открытие было неожиданным и не таким уж обязательным.

Иностранцы путешественники отзываются о нем с пренебрежением и плохо скрываемой неприязнью, вот только правы ли они? Известно, что Матвей Нарышкин был деятельным сторонником Петра в его борьбе за власть, участником подавления стрелецких восстаний. Вошел он и во Всешутейший собор его первым главой, сумев разобраться в замыслах внука. А поставив перед собой какую-либо цель, этот человек умел к ней идти. Только характер у Матвея Нарышкина был не из легких.

Круг кандидатов в «Нептуну» заметно сужался, но не одно это поддерживало надежду. Среди оставшихся «бояр висячих» несколько имен принадлежало так называемым шутам Петра. Среди них как-то легче, казалось, найти таинственного старика. К тому же шуты петровских лет это снова совсем не так просто.

Шутка, злая издевка, острое слово – как ценили их Петр и его единомышленники, какую видели в них воспитательную силу! Под видом развлечения любая идея легче и быстрее доходила до человека, а ведь имелась в виду самая широкая аудитория, выходящая далеко за рамки придворного круга. Сколько шуму наделала в Москве в конце XVII века знаменитая свадьба шута Шанского, разыгравшаяся на глазах у целого города с участием именитого боярства, на улицах и в специально приготовленных помещениях. «В том же году, – вспоминает с характерной для тех лет краткостью один из современников, женился шут Иван Пименов сын Шанский на сестре князя Юрья Федоровича сына Шаховского; в поезде были бояре, и окольниковые, и думные, и стольники, и дьяки в мантиях, в фerezях, в горлатных шапках, также и боярыни». Трудно придумать лучший повод для пародии на феодальные обычаи и вместе с тем возможность унижить ненавистную Петру боярскую спесь.

Чтобы сохранить память об удавшихся торжествах, Петр заказывает гравюру Схонебеку гравюры, на которых свадьба должна была быть запечатлена во всех её мельчайших подробностях. Тем более, что такому обороту представления, которое было сродни торжествам Всешутейшего собора, помогал сам «молодой». Шанского никак не назовешь шутом в нашем ны-

нешнем смысле этого слова. Представитель одной из старейших дворянских фамилий, он в числе «волонтеров» в 1697-1698 годах вместе с Петром ездил учиться на Запад, был по-настоящему образован, несомненно, остроумен и хорошо понимал замыслы царя. Тем не менее живописный портрет Шанского не числился среди имущества Преображенского дворца. Петр, по видимому, не считал его лицом достаточно важным и интересным для подобного представительства. Зато в ассамблейной зале висела «персона иноземца Выменки», формально состоявшего на должности шута в придворном штате.

Однако «принц Вимене», как называли его современники по любимому присловью – искаженному акцентом выражению «вы меня», фигура и вовсе необычная. Настоящее его имя остается загадкой, но именно он становится одним из основоположников русской политической сатиры. Сохранилась любопытная переписка «Выменки» с Петром, дошла до нас и составленная им сатирическая «грамотка» к польскому королю Августу II Саксонскому в связи с далеко идущими военными планами последнего. Темой шуток «принца Вимене» была только внешняя политика России, предметом сатиры – ее внешние враги. Обличие «Нептуна» слишком мало ему подходило.

А вот какая роль принадлежала двум другим шутам – Андрею Бесящему и Якову Тургеневу?

Еще в прошлом веке один из первых историков русского искусства П.Н. Петров высказал предположение, что под именем Андрея Бесящего скрывается Андрей Матвеевич Апраксин. Был Андрей Апраксин одним из приближенных бояр брата Петра, слабоумного Иоанна Алексеевича, но состоял в дальнем

родстве и с самим Петром. Сестра Апраксина, Марфа Матвеевна, была женой другого брата царя – рано умершего Федора Алексеевича. Правда, ни историк П. Н. Петров, ни последующие исследователи не заинтересовались происхождением неуважительного прозвища, трудно объяснимого в отношении человека с таким высоким положением. В связи же с Преображенской серией возникал другой, еще более недоуменный вопрос: что побудило Петра повесить в ассамблейной зале портрет Андрея Апраксина, в общем достаточно далекого от его деятельности?

Снова долгие розыски и постепенно складывающийся ответ, в котором все было как будто наоборот. Да, в отличие от двух своих братьев, ближайших соратников Петра, Андрей Апраксин вначале не слишком разделял преобразовательные идеи царя. Попросту они его не занимали, а боярская привычка «тешить свой нор» постоянно приводила к столкновениям с Петром. «Вольный дух» старого боярства истреблялся царем жестоко и неуклонно.

Среди «молодецких» выходок Андрея Апраксина одна отличалась особенной бессмысленностью. В 1696 году под Филями он со своими «людьми» «смертно прибил» стольника Желябужского с сыном, а при допросе отрекся от своего поступка. Взбешенный Петр приговорил его к исключительно высокому денежному штрафу и битью кнутом. От этого последнего, позорного наказания Апраксина спасли только неотступные просьбы сестры, царицы Марфы, которая буквально на коленях вымолила для него прощение. Битье кнутом было заменено прозвищем Бесящей, которое оказалось увековеченным и на специально написанном портрете как предостережение и напоминание всей





остальной боярской вольнице. В такой же роли одержимого Апраксин вынужден был принимать участие во всех «действиях» Всещутейшего собора, выставляемый Петром на осмеяние. Чести быть «Нептуном» ему бы никто не предоставил.

По сравнению с другими Преображенскими портретами портрет Якова Тургенева оказался в наилучшем положении. Забранный в свое время в Гатчину Павлом, который старательно собирал все, что было связано с памятью Петра, портрет перешел затем в Русский музей и теперь открывает залы нового русского искусства, вернее, собственно живописи.

Немолодой мужчина в широко распахнутом кафтане, подпоясанный ярким узорчатым поясом, с палкой или, может, жезлом в правой руке. Бледное, почти испитое лицо под темной полосой придерживающей волосы перевязи, усталый и недоверчивый взгляд умных темных глаз. И прямо над головой, по фону, крупной вязью старинного шрифта: «Яков Тургенев». Каталог Русского музея добавляет к этому, что портрет принадлежит кисти Ивана Одольского и написан в 1725 году.

«Извольте прислать ко мне Адольского немедленно... у вас налицо старые... уже не годятся. А потребны оные (портреты. – Н. М.) будет...» Это обрывки записки с приказом Петра, записанным его кабинет-секретарем в 1720 году.

И 1725 год. «Доношение»: «В Канцелярию от строений доносит живописец Иван Одольской, а о чем тому следуют пункты:

1

Ее императорского величества именным указом повелено мне, нижайшему, написать четыре персоны, а именно: князь папы

Строева, господина Нелединского, господина Ржевского, малого Бахуса, который живет в Доме ее императорского величества.

2

а на письмо помянутых персон к живописному делу надлежат потребности, которые объявлены ниже сего...»

Дальше подробный список материалов.

Два архивных документа, очень давних, на первый взгляд никак не связанных друг с другом, но между ними поместилась история «шутовских портретов». Впрочем, никакой особенной истории не было.

Едва ли не в каждом очерке об искусстве тех лет упоминается о том, что любивший развлекаться Пётр заказал целую серию портретов своих шутов. Большую часть заказов выполнил Иван Одольский. Имена других мастеров неизвестны.

Традиционные утверждения редко приходят в голову оспаривать, даже ставить под сомнение. С ними каждый историк искусства знаком чуть ли не со студенческой скамьи, они стали для него своего рода таблицей умножения. Кто станет на палочках складывать, сколько будет восемью восемь? Память услужливо и безотказно даст ответ прежде, чем успеешь подумать о самой возможности подобного опыта.

А что, если все же попробовать чуть-чуть высвободиться из-под ига профессиональных представлений...

На первый взгляд никакой надежды обнаружить здесь «Нептуна» не было. Но, раз обратившись к какому-нибудь произведению, всегда лучше по мере возможности закончить связанные с ним розыски. Разве угадаешь, на каком повороте архи-

вных путей может открыться необходимая тебе подробность?

В конце концов, в известных документах не фигурировало и имя Якова Тургенева. Историки только строили предположения, что он подразумевался под именем Бахуса.

Итак, прежде всего первая петровская записка. Почему она касалась портретов шутов, и кого из них в частности? Текст как таковой не давал оснований ни для каких безапелляционных утверждений. Его интерпретация была чисто предположительной.

С другой стороны, «Доношение» Одольского. Оно свидетельствовало о полученном заказе, и опять-таки «но». Заказ исходил не от Петра, а от Екатерины I – «ее императорского величества». Значило ли это, что Екатерина хотела завершить серию, начатую Петром, или руководствовалась совсем иной идеей?

Вопросов появлялось все больше и больше, а ответить на них было очень сложно, а подчас и вовсе невозможно, поскольку по этому периоду русской истории обращения к одним опубликованным трудам и документам совершенно недостаточно. Всякий раз нужны архивы, и дело не только в том, что они объемны, заключают многие и многие тысячи листов, – слишком трудно сориентироваться, в каком направлении в каждом отдельном случае вести поиск. Иные были учреждения, иные их взаимоотношения, иное взаимоподчинение. И для того чтобы правильно и возможно скорее подойти к ответу на вопросы, приходилось прежде всего обратиться к изображенному лицу.

Вообще в первой четверти XVIII века имя Якова Тургенева мне не удалось встретить ни в каких документах. Молчание о

нем настолько глухо, что есть все основания считать – в это время его уже не было в живых. Зато вся юность Петра самым тесным образом, связана именно с Тургеневым. Был он дьяком приказа, ведавшего «потешными», отличился в «Кожуховском деле». Был он с Петром и под Азовом. Сразу после этого похода состоялась его свадьба «на дьячей жене – в шатрах, на поле, промеж сел Преображенского и Семеновского», веселое шутовское празднество, близкое к «действиям» Всешутейшего собора.

Пожалуй, один-единственный этот эпизод и позволял дать Тургеневу имя шута, хотя и безо всякого на то действительного основания. И если внимательно всмотреться в костюм дьяка, оказывается, в руках у него не некий шутовской атрибут, а вид служившего символом военной власти жезла, который использовался в «потешных» войсках. Так не явилось ли поводом написания Преображенского портрета успешное участие Тургенева в «Кожуховском деле», чтобы остался он изображенным с теми знаками власти, которые были тогда ему даны?

Но существовали и иные соображения, делавшие дату написания тургеневского портрета совершенно неправдоподобной. Родившийся около 1650 года, Тургенев должен был иметь в 1725 году, когда Одольский получил заказ, не менее семидесяти пяти лет. Тогда этот возраст считался более чем преклонным. Но на портрете представлен мужчина не старый, с едва тронутой проседью бородой. Иными словами, этот холст не имел отношения к Одольскому (тем более, что и подпись на нем отсутствовала!) и был написан, по крайней мере тридцатью годами раньше утвердившейся за ним даты.

Но вот именно здесь, в карусели дат, документов, отри-

цаний и утверждений, и начала проясняться загадка «Нептуна». Чтобы исключить самую возможность связи Якова Тургенева с заказом Екатерины, приходится проштудировать все описки участников Всешутейшего собора. Они сохранились в обрывках: где документ, где воспоминание современника, где случайное упоминание, но никогда Яков Тургенев не выступал в роли Бахуса.

В годы, непосредственно предшествующие царицыному заказу, в разных маскарадах и придворных развлечениях упоминается «Бахус – певчий Конон Карпов». Был Карпов личностью достаточно приметной, потому что не раз вспоминают о нем современники. Один из них и вовсе отзывается о Карпове как о редком пропойце. В рассказах о всяческих шествиях имя певчего чаще всего стоит рядом с именем «архимандрита в странном уборе, от гвардии фендриха (прапорщика. – Н. М.) Афанасия Татищева». И это лишнее доказательство, что в заказе Екатерины речь шла именно о певчем. В нескольких разъяснениях по заказу подчеркивается, какого именно Бахуса имела в виду царица – того, что живет «в доме ее императорского величества у господина Татищева». И не потому ли, что, в отличие от других участников Всешутейшего собора, был Карпов простым певчим, Екатерина не помнила его имени и ограничилась указанием роли, которую он обычно исполнял. Зато тут же рядом постоянно упоминаются и Тургенев и «Нептун». Только все дело в том, что роль бога морей долго и с неизменным успехом исполнял Тургенев Семен, тоже упоминающийся среди Преображенских портретов. Значит, его имя и опустил переписчик, ограничась названием «Нептун».

Семен Тургенев... Никаких подробностей его жизни отыскать не удалось. Может, и действительно единственным сколько-нибудь значительным событием в ней было исполнение «морской» роли?

Тонкий солнечный луч настойчиво пробивается между закрывшей окно запасника кирпичной оградой и стеной соседнего дома, крошится в решетке и мимоходом ярко ложится на мрачноватое упрямое лицо. Что ж, у «Нептуна» больше нет тайны – есть «персона Семена Тургенева», есть один из писавшихся для Преображенского дворца первых русских портретов.





ТАЙНА КУДЕЯРА-АТАМАНА

Соображение Михаила Николаевича Тихомирова о полезной для науки связи реального памятника искусства с живым человеком не находит поддержки у преподавателей искусствоведческого отделения: «Вы еще додумаетесь психиатрию изучать!». Но именно эта идея и приходит на ум составителям программ. В списке зачетов появляется таинственное слово «Психология». На первых порах безо всяких подробностей. Преподавателя нет, есть необходимость прохождения соответствующего «материала» на практике. Для моей группы это оборачивается направлением на практические занятия в Психиатрическую больницу имени Кащенко – Канатчикову дачу.

Изумление главврача также не знает границ. «Отправляйтесь посидите в санаторно-соматическом отделении, а там посмотрим». Дежурство в пространстве двора, обтянутом высокой сеткой не приносит никаких идей, кроме нового обращения к главврачу. На этот раз по существу: «Доктор, как вы сами отличаете врачей от больных?» – Минутная пауза. – «Матрикул у вас с собой? Давайте». И широкая подпись: зачет сдан. «Но может быть я могла бы что-нибудь извлечь для моей профессии?» – «Только когда будет создан соответствующий раздел науки».

Среди очередных дисциплин с завидной регулярностью повторяется: основы марксизма-ленинизма, диамат, истмат.

Единственное спасение – выученная наизусть, брошюрка издательства «Знание»: коротко, четко, абсолютно невразумительно. В остальном идут пласты территорий и эпох, взятые на себя отдельными лекторами.

Удивительно скромный, мягкий профессор Всеволод Владимирович Павлов. Ему приходится сдавать Грецию и Рим: специалист в этих областях М.М. Кобылина отстранена от преподавания ввиду «аполитичности» изложения материала. Приговор выносится не ученым советом факультета или отделения, даже не кафедрой: общим собранием студентов, где особенно буйствуют первокурсники. Пусть они еще не знают предмета, со временем поймут правильность подсказки старших. Подобные акции готовятся в искусствоведческом кабинете – последней комнате длиннейшего коридора верхнего этажа левого крыла здания. Участники – исключительно члены Партии. Дело все-таки достаточно тонкое, а главное «семейное».

Античность сдана (и это без единого «живого» памятника, по одним увражам, благо их достаточно в фундаментальной библиотеке университета. Более того. Скрупулезный Всеволод Владимирович заставляет дополнительно по фотографиям деталей называть памятники. Вот только ощущение антики... И каким же потрясением после этого становится увиденный в Эрмитаже Пергамский алтарь, само дыхание древнего камня, «Русский Кафка», по определению Запада, мой дед Сигизмунд Кржижановский, постоянно повторял: учить искусство по репродукциям – один из худших вариантов онанизма.

Ставя оценку за античность, профессор Павлов напоминает, что мне еще предстоит встретиться с ним в качестве экзаменатора по всему Востоку – от Ассирии-Вавилонии до Индии, Китая и Японии. «Так уж сложилось», почти извиняясь, говорит Всеволод Владимирович и тут же предлагает список семинарских тем по Индии, предупреждая, что подчеркнутые красным карандашом «могут» потянуть на докторские диссертации. Ошеломляющая перспектива для студента, не имеющего ни малейшего представления о предмете.

Рассказ о подобной перспективе среди моих приятелей приводит к сочинению экспромта известным знатоком скандинавских языков, работавшим на нашем зарубежном радио Алексеем Шехватовым-Китли

*Шалью плечи свои окутай,
Продолжай, как всегда, рассказ, –
Все равно ни с какой Калькуттой
Не сравню я улыбку глаз.
Ваши косы по-русски русы,
Лучше джунглей поля у нас.
Да поймут ли вас те, индусы,
Сакья-Муни поймет ли вас.*

Вопрос о подобном зарубежном понимании никогда не стоял. С первого курса я хотела быть русисткой. Впрочем, жить можно было и проще. Мой товарищ по театру народный артист России Геннадий Печников, сыграв единственную роль в спектакле на индийскую тему, всю жизнь работает в Советско-индийском обществе дружбы, какое-то время возглавлял его, как

и одно из вечно враждующих отделений Общества Святослава Рериха. Что не мешает ему всю жизнь играть в пьесах А.Н. Островского и больше всего любить роль Любима Торцова.

Круг преподавателей, по сути, не расширился, включив «одни и те же имена на все времена», по выражению очень иронически относившегося к собственным коллегам Н.Д. Колпинского.

Каждый год приходилось встречаться с Германом Александровичем Недошивиным: Первобытное искусство, Древнерусская живопись – иконопись, Средневековье Западное. И это при том, что в художественном институте преподавали, отметивший себя фундаментальными трудами по итальянскому Возрождению и русскому искусству Михаил Владимирович Алпатов, блистательный знаток и автор фундаментальных исследований по западному искусству в России Виктор Никитич Лазарев, к тому же член-корреспондент Академии Наук СССР, Александр Георгиевич Габричевский, сын ученого, увековечившего себя в мировой науке Георгия Норбертовича Габричевского, создателя противодифтерийной вакцины, наконец, Игорь Грабарь. Всякое общение с ним, даже на частной почве, воспринималось как измена курсу «родной партии». У «отверженных» было и еще одно абсолютное преимущество – знание языков в такой степени, что они могли свободно писать без переводчика свои статьи и книги.

Этот совершенно непонятный для простого студента перекос становился особенно очевидным в области архитектуры, которая, по сути, не преподавалась в университете. Хотя рядом существовала Академия Архитектуры с большим штатом спе-

циалистов самой высокой категории, начиная с автора классического труда «Лаокоон» Дмитрия Недовича. Впрочем, как раз Академия архитектуры находилась в это время в глубокой эвакуации – в Средней Азии. Анализ архитектуры отсутствовал во всех разделах истории искусства в МГУ. Тем более подвергнутый абсолютному остракизму модерн, преданный анафеме Сарабьяновым-старшим. (Младший со временем напишет диссертацию и книгу о развитии реализма у передвижников). Что же касается Москвы, то она считалась лишенной сколько-нибудь ценных памятников, кроме Кремля.

•

Уж что это у нас в Москве приуныло,
Заунывно в большой колокол звонили?
Уж как царь на царицу прогневался,
Он ссылает царицу с очей дале,
Как в тот ли город во Суздаль,
Как в тот ли монастырь во Покровский.

Народная песня. XVI век

Начал у загадки было два. Не замеченных любителями истории. Не сопоставленных между собой исследователями.

Всех одинаково устраивал хрестоматийный вариант судьбы первой супруги великого московского князя Василия III Ивановича. Прожила с мужем без малого двадцать лет. Наследника ему не родила. И была отвергнута ради молодой жены, подарившей России Ивана Грозного. Иначе – скончала живот

свой под монашеским клобуком с именем старицы Софии в печально знаменитом Покровском монастыре Суздаля, где находили свой конец женщины из самых знатных семей – Шуйских, Нагих, Горбатов. Бывшая княгиня московская. Бывшая Соломония Сабурова.

Слов нет, и в хрестоматийном изложении не все выглядело слишком гладко. Посол императора германского барон Сигизмунд Герберштейн побывал в Московском княжестве в 1517 году и приехал во второй раз через несколько месяцев после развода Василия III. Развод и последовавшие за ним перемены в установках московского двора и были причиной его миссии. Каждая подробность с точки зрения дипломатических расчетов представлялась исключительно важной. Барон узнал от очевидцев, что до последнего князь скрывал от супруги свое решение, что поддерживали его в этом митрополит Даниил и вся так называемая иосифлянская партия, тогда как самые влиятельные придворные – князь Симеон Курбский, Максим Грек, Василий Косой подобного попрания церковных правил не допускали. Что княгиня не давала согласия на постриг, и постригали ее в сохранившемся до сегодняшних дней соборе Рождественского монастыря, что на крутом берегу речки Неглинной, силой: «Рассказывали, что она билась, срывая монашеский куколь, кричала о насилии и вероломстве мужа, так что боярин Шигоня-Поджогин ударил ее плетью».

И не раз. И не один Шигоня, – утверждали очевидцы. Так что совершен был обряд над обеспамятевшей княгиней, которую тут же увезли в Каргополь. Хотя, по слухам, предполагал первоначально Василий III поместить бывшую жену в москов-

ском только что отстроеном Новодевичьем монастыре. Слишком долго пользовался ее умной поддержкой, слишком не хотел сразу потерять. Знать бы должен, что не смирится, не простит измены. Но при всей своей злобности и яростности о Соломонии продолжал думать – бесправную и безгласную «пожаловал старицу Софию в Суздале своим селом Вышеславским... до ее живота».

И первое начало загадки. В 1934 году в подклете Покровского собора одноименного суздальского монастыря уничтожались все захоронения. Рядом с гробницей Соломонии оказалось белокаменное детское надгробие того же времени и под ним в деревянной колоде вместо человеческих останков... истлевший сверток тряпья. Это была кукла, одетая в дорогую шелковую рубашечку и спеленутая шитым крупным жемчугом свивальником.

Известие о кукле в одежде мальчика промелькнуло в 36-м выпуске Кратких сообщений Института истории материальной культуры Академии наук СССР в 1941 году. Никаких выводов не могло последовать, хотя память невольно подсказывала существовавшие в народе легенды, что была Соломония пострижена беременной, что уже в стенах монастыря родила сына Георгия и разыграла его смерть, чтобы спасти княжича и наследника московского престола от неминуемой смерти. Доверенные люди вывезли и укрыли младенца, обряд погребения был совершен над куклой.

Легенда? Но слух о рождении у Соломонии сына Георгия приводит тот же барон Герберштейн. Сам князь Василий Иванович посылает для «прояснения дела» дьяков Меньшого Пу-

тятин и Третьяка Ракова. Слух подтвердили жена казначея Юрия Малого, к тому времени уже опального, и жена постельничего Якова Мансурова. Казначейша не отступилась от своих слов и после жестокого бичевания. Оставалось неясным, была ли она очевидицей родов или передала рассказ доверявшей ей Соломонии.

Положим, все оказалось простой сплетней. Но тогда почему не находит себе покоя Иван Грозный, требует к себе следственные документы Путятин и Ракова и их, по-видимому, уничтожает, потому что, попав в царские руки, бумаги бесследно исчезают. Но царь на протяжении всей своей жизни будет отзываться на каждый слух о появлении Георгия, снаряжать доверенных дьяков для расследования и искать, искать, искать... Кудеяра-атамана, защитника бедных и обездоленных, грабителя богатых и несправедливых, Робин Гуда владимирских лесов.

И второе начало загадки. В 1650 году – решение пятого московского патриарха Иосифа причислить к лику святых и угодников княгиню Соломонию. Под ее мирским именем. С обнародованием всей ее замужней жизни. Не смирившуюся и под монашеским клобуком. Родительницу прямого царского врага и ослушника. Правда, уже заслужившую народное почитание: к ее гробнице стекались толпы молящихся. Как будут они стекаться в недалеком будущем к скромному погребению старшей сестры Петра I царевны Марфы Алексеевны в Успенском монастыре Александровой слободы. Только почитание угодницы Марфы останется на народной совести – церковь его не признает. В отношении великой княгини Соломонии патриарх согласится с народными чувствами. Но почему?

Причисление к лику святых всегда оставалось делом большой политики и расчета. Одних заслуг будущего святого было недостаточно. Иосифа отличала тяга к просветительству. Он займет патриарший престол за три года до смерти Михаила Федоровича и станет невольным пособником его ранней кончины. Царь больше всего мечтал устроить судьбу своей старшей дочери царевны Ирины. В Москву был доставлен претендент на ее руку датский принц Вольдемар, но свадьба расстроилась по причине спора о вере. Усиленно поддерживаемый патриархом Михаил требовал принятия принцем православия, на что тот согласия не дал. Иосиф провел долгие часы в богословских спорах с пастором принца Фильгобером, но необходимой дипломатической гибкости не проявил. Пережить расстроившейся помолвки любящий отец не смог. Между тем Иосиф окончательно обострил отношения своими прямыми письмами к принцу, которого надеялся склонить к православию.

Патриарх хлопочет о распространении в Московском государстве школьного образования. Ему обязана Москва открытием первого высшего гуманитарного учебного заведения, так называемой Ртищевской школы, в которую была выписана большая группа ученых монахов из Киева. Иосиф отправляет на Восток своего представителя Арсения Суханова, чтобы сличить русское и греческое православие, и Суханов возвращается с редкими книжными сокровищами. Наконец хлопотами патриарха издается 38 названий церковно-богослужбных и церковно-учительных книг, восемь из них выходят несколькими изданиями, и тем самым кладется начало раскола. Те представители духовенства, которым Иосиф поручил выход книг, вне-

сли в них много своевольных изменений и дополнений, вплоть до раскольничьих мнений о двуперстии, сугубой аллилуйе, ставших теоретической основой старообрядчества. По поводу ряда особенностей богослужения Иосиф переписывается с константинопольским патриархом. И среди множества этих дел достаточно неожиданно всплывает имя Соломонии Сабуровой.

Это восьмой год правления патриарха и пятый год правления царя Алексея Михайловича. Многого успело произойти в личной жизни юного самодержца. Не состоялась пламенем вспыхнувшая любовь к дочери Руфа Всеволожского – уже объявленная царской невестой, уже введенная в терем, проискамы ближайших к Алексею Михайловичу лиц была она оклеветана и сослана со всей родней в Сибирь. Прошла рассчитанная теми же приближенными свадьба с Марьей Ильиничной Милославской. Успела зародиться дружба с Никоном. Но рядом жило и волновалось государство. Ушел в прошлое страшный для народа 1648 год, когда окончательно были прикреплены к земле и к месту жительства крестьяне и посадские люди и разразился Соляной бунт. Больше всех повинного в народном гневе дядьку своего боярина Бориса Ивановича Морозова царь сумел спасти, тайком переслать в Кириллов монастырь, окольного Траханиотова выдал толпе, не защитил и других своих приближенных. Ставший же любезным его сердцу Никон железной рукой усмирил мятежников в 1650 году в Новгороде. Канонизация Соломонии произошла именно в эти дни. Загадка заключалась в том, кем же княгиня была в действительности.

Вторая супруга, «деспина», – ее себе Иван III не выбирал – согласился на предложение римского папы Павла II. Жену,

княжну Марью Борисовну Тверскую, потерял в свои 27 лет, но наследника, княжича Ивана Молодого, уже имел. В новой жеманности не было прямой нужды. Но рука племянницы последнего византийского императора значила в дипломатических играх слишком много. Зоя Палеолог стала великой княгиней Софьей Фоминишной, приняв православие и порешив все надежды Ватикана на присоединение русского государства к католицизму. Власть, только власть имела цену для византийской принцессы.

По ее подсказке перестраивается Кремль, воздвигаются кремлевские соборы, устанавливается новый придворный уклад. Но через семь лет приходит на свет сын деспины Василий, и относительный мир в теремах уступает место ожесточенной борьбе.

Ехавший в Персию через Москву венецианский посол А. Контарини напишет в 1477 году: «Упомянутому государю (Ивану III) от роду лет 35; он высок, но худощав; вообще он красивый человек. У него есть два брата и мать, которая еще жива; есть у него и сын от первой жены, но он в немилости у отца, так как нехорошо ведет себя с деспиной; кроме того, у него есть две дочери». Смерть объявленного наследника Ивана Молодого только обострила дворцовую борьбу. Иван III, не принимая в расчет сына деспины, провозглашает наследником своего внука от Ивана – Дмитрия, и при дворе образуются две партии – сторонников Дмитрия и сторонников Василия. К тому же Дмитрия поддерживает мать, неизменно пользовавшаяся расположением Ивана III Елена Стефановна Волошанка, дочь молдавского господаря Стефана IV.

Забывать своего первенца Иван III не может. Слишком его любил, рано допустил к руководству государством. Как боялся

за него, когда вопреки отцовской воле стоял Иван Иванович с войском на берегах Угры. В связи с женитьбой получил княжич от государя в правление Тверь, но непонятно быстро заболел и скончался – объявился у него «кемчюг в ногах». Не надеясь на скорую перемену чувств великого князя, Василий, не без помощи матери, решает ускорить события. Его сторонники организуют заговор против Дмитрия. Но заговор был вовремя раскрыт, заговорщики казнены, сам Василий арестован. В опале оказалась сама деспина. Летописец утверждает, что великий князь стал опасаться своей еще недавно горячо любимой княгини.

Может быть, и начал, но ненадолго. Ровно через год опала постигла сторонников Дмитрия. Новые казни, насильственные пострижения. Одиннадцатого апреля 1502 года и Дмитрий, и Елена Волошанка оказались в тюрьме. Четырнадцатого апреля сын деспины получил благословение на великое княжение. Византийская принцесса выиграла. Ровно через год Софья Фоминишна уйдет из жизни. Отчаяние великого князя не будет знать предела. В конце 1503 года государь «всяя Руси», как начнут титуловать Ивана III, «начат изнемогати» тяжелой болезнью. Во время осенней поездки к Троице после спора с игуменом Серапионом по поводу одной из мелких земельных тяжб его постигнет паралич руки, ноги и глаза.

Чувствуя приближение смерти, Иван III приказывает выпустить из темницы внука и, как утверждает молва, обращается к Дмитрию со словами: «Молю тебя, отпусти обиду, причиненную тебе, будь свободен и пользуйся своими правами». Но какими именно? Имел ли в виду умирающий права на великокняжеский престол? Во всяком случае в завещании этого ус-

ловия нет, хотя великий князь и успевает позаботиться о выделении уделов своим сыновьям Дмитрию и Юрию, которые ими уже правили. О выделении уделов двум другим своим братьям, Андрею и Семену, предстояло позаботиться Василию.

Только что значила воля ушедшего из жизни человека! Василий знает, что нужно действовать, и он действует. Стремительно. Жестко. Беспощадно. Сначала главный соперник – Василий «в железа племянника своего великого князя Дмитрия Ивановича закова и в полату тесну посади». Как уверяют историки Стрыйковски и Герберштейн, Дмитрий оказывается в темнице еще при живом деде, сразу после слишком знаменательного разговора о восстановлении его в правах. 27 октября 1505 – 14 февраля 1509 года, срок, который сможет прожить молодой князь. По свидетельству Герберштейна, «одни полагают, что он погиб от голода и холода, а по другим – он задохся от дыма». Дым оставался надежным средством расправы московских князей со своими врагами.

Следующими идут все те, кто был близок с Дмитрием. Что из того, что князь Василий Данилович Холмский был женат на сестре Василия! Он тяготеет к Твери, которая оставалась оплотом Дмитрия Ивановича, и значит, вывозится на Белое озеро, где его тоже ждет скорая смерть. Василий открыто говорит, что не собирается считаться ни с какими родственными связями.

Видя неизбежный и скорый конец отца, Василий торопится с женитьбой. Его не устраивают виды Ивана III на заморских невест, как и вообще мало интересуют внешнеполитические дела. Он занят утверждением себя в Московском государстве,





составлением собственной партии, приобретением собственных сторонников, и потому решает жениться на местной невесте. И здесь он использует тщеславие близкого в прошлом к деспине хранителя государственной печати – «печатника» Юрия Дмитриевича Траханиотова. Траханиотов рассчитывает увидеть на престоле собственную дочь, но из политических соображений помогает великому князю устроить грандиозные смотрины, на которые собирается около полутора тысяч девушек. Тяжелая болезнь изнемогающего отца не мешает Василию еще в августе 1506 года начать «избирати княжны и боярины». К концу месяца претенденток остается десять, и тут печатник убеждается в нереальности своих надежд: Василий останавливает выбор на Соломонии Сабуровой. Четвертого сентября того же года была сыграна свадьба. Василий III сумел опередить смерть отца.

Были Сабуровы и небогатыми и незнатными, вели свой род от ордынского выходца мурзы Чета. Впрочем, и все свои годы Василий будет править посредством дьяков и незнатных людей, лично обязанных ему своим выдвижением и нараставшим богатством. Другое дело – отдельные представители древних семей, вроде князя Василия Семеновича Стародубского, известного своими успешными военными действиями во время похода 1487 года на Казань. За него Василий III спешно выдает замуж сестру жены – Марию Сабурову.

Трезвый и очень расчетливый политик, он тщательно ткет полотно своих личных связей, обязательств, отношений. Василий не верит старым боярским родам. Вообще советуется с боярами редко и только для вида. Но никогда не задевает родов племени Владимира Святого и князя Гедимины. Никто из них

не будет казнен. Зато с родственниками расправляется постоянно и беспощадно. Такова особенность московских князей, о которых князь Андрей Курбский отзовется как об «издавна кровопийственном роде Калиты». Игнорируя прямых родственников, решает Василий III и вопрос престолонаследия.

В Московском государстве находится под наблюдением архиепископа Ростовского сын крымского хана Менгли Гирея царевич Куйдакул. В конце декабря 1505 года он выражает желание принять православие, получает крестное имя Петра, и Василий женит его, как возможного претендента на казанский престол, на собственной сестре Евдокии. В качестве удела молодой чете на первых порах был предоставлен Клин. Составляя во время Псковского похода 1509 – 1510 годов первое свое завещание, Василий, судя по всему, назначает наследником именно Петра, который остается местоблюстителем великокняжеского престола в Москве. Это положение вполне устраивает Василия III, и только когда в марте 1523 года царевича Петра не станет, впервые поднимется вопрос о бесплодии Соломонии Сабуровой. Как осторожно выразится летописец, Василию III «бысть кручина о своей великой княгине, что неплодна бысть».

Но это через двадцать лет, а пока Василий неразлучен с Соломонией. Кто-то из историков напишет, что ничем не отличалась великая княгиня ото всех московских боярынь, что не имела ни характера, ни влияния на мужа. Факты не подтверждают такого взгляда. Скорее Василий находит в Соломонии то, что находил его отец в своей деспине. Соломония не уступала Софье Фоминишне в силе воли, как Василий III своему отцу в энергии государственного деятеля.

Пожалуй, ближе всего супругам строительство. В мае 1505 года по распоряжению Ивана III в Кремле разбирают старый Архангельский собор, и Алевиз Фрязин приступает к сооружению на его месте нового, задуманного им как Пантеон московских князей. Рядом с собором итальянец Бон Фрязин начинает сооружать колокольню с церковью Иоанна Лествичника – Ивана Великого. Но основное строительство ложится уже на плечи Василия III. Год за годом строится каменный кремль в Туле, новые укрепления в стене Иван-города, новый участок каменной стены во Пскове, итальянцем Петром Френчужком каменный кремль в Нижнем Новгороде. Великий князь основывает около Переяславля Новую, иначе Александрову, слободу, которая становится излюбленным местом его пребывания во время частых поездок «на потеху» и по монастырям. Даже страшный для Москвы 1508 год не останавливает строительных работ.

От засухи повсюду возникают пожары. В столице сначала загорелся Большой посад у Панского двора, «и торг выгорел и до Неглины по Пушечные избы и мало не до Устретения». Через неделю сгорело Чертолье и «Семчинское до Споля» – Остоженка и Пречистенка. По всей стране «много городов выгоре, также и сел, и лесов, и хлеба, и травы выгоре». В одном Новгороде погибла вся Торговая сторона.

Между тем Алевиз начинает делать обложенный белым камнем и кирпичом ров вокруг Кремля, а со стороны Неглинной копать пруды, и завершает строительство великокняжеского дворца, куда 7 мая Василий торжественно приведет свою княгиню.

В начале XVI века Василий мог предпочесть брак с рус-

ской Соломонией, но государственная жизнь в дальнейшем требовала постоянного общения с Западом. Князь поддерживает отношения с Италией, откуда к нему приезжают послы, с балканскими единоверцами, с Афонскими монастырями. С датскими королями Иоанном и Христианом II его связывают поставки оружия и мастеров. В Москве работают мастера-пушечники из Шотландии. Немецкие пушкари принимают участие в обороне Москвы во время набега Мухаммед-Гирея в 1521 году. Пушкарь Иоанн Иордан командует в том же году артиллерией в осажденной крымцами Рязани. Иностранные дипломаты отмечают, как много в русской столице немецких литейщиков, «много медных пушек, вылитых искусством итальянских мастеров и поставленных на колеса».

В наемном войске московского князя находятся одновременно до 1500 литовцев. Литовцы и немцы участвуют в походе русских войск на Казань в 1524 году.

Конечно, вопрос престолонаследия имел немаловажное значение, но план развода и вторичной женитьбы Василия III подсказывается не только и не столько им. Гораздо важнее перспектива династического соединения Северо-Восточной Руси с западнорусскими землями. Невеста из дома князей Глинских, в руках которых находилась едва ли не половина Литовского княжества, помогала к тому же укрепить русско-молдавский союз, направленный против литовского князя Сигизмунда. Да и вели Глинские свой род от ханов Большой Орды, Чингизида Ахмата, и задуманный брак создавал предпосылки для возобновления борьбы за наследие ханов Золотой Орды. Княжна Елена Васильевна Глинская, о которой начинает вестись речь,

внучка сербского воеводы деспота Стефана Якшича. К тому же двоюродная ее сестра замужем за волошским – румынским воеводой Петром Рарешом, в котором Василий III видел союзника в борьбе с польскими королями. Рареш и в дальнейшем станет, по отзыву историка тех лет, «великим доброхотом» Грозного.

Выверялась и обдумывалась каждая возможность, и это несмотря на то, что глава рода князь Михаил Глинский с 1514 года находится в заключении у московского великого князя. Тем лучше! Его освобождение, о котором постоянно ходатайствует император Максимилиан, позволит успешно завершить переговоры с империей. Где же было в этом сплетении государственных расчетов угадать Соломонии неожиданный поворот ее собственной судьбы. Все планы сохраняются в глубокой тайне, так что на обычное осеннее богомолье в 1524 году Василий выезжает еще вместе с Соломонией. Роковым для нее окажется следующий год.

И как рванется народное сочувствие к старой княгине – Елене Васильевне рассчитывать на симпатии московской толпы не приходилось. Разойдутся легенды об унижении и страданиях Соломонии, о насилии и жестокости князя. Будут сложены песни и рассказы, из которых так явственно встает образ событий. А беременность княгини? Народному суду осталось непонятным, что не нужен был этот ребенок Василию III, уничтожая все возникшие расчеты. И не догадывалась ли об этом Соломония, когда, обвиненная в бесплодии, скрыла от мужа то, что, казалось, могло сохранить за ней былое место, не выдала свое дитя и даже разыграла его смерть и похороны. Собственного единственного сына!







БУНТ СОВЕСТИ

Составляли искусствоведческое отделение всего две кафедры: русского и западноевропейского искусства. Заведовал последней Борис Робертович Виппер, сын известного историка, достаточно необычным образом оказавшегося в Советском Союзе. Виппер-старший не скрывал своей вражды к новому строю и скрылся от него в Прибалтике. Но был один пункт во взглядах историка, противопоставлявший его убеждения всем остальным коллегам: оценка деятельности Ивана Грозного. В то время все историки резко отрицательно оценивали смысл опричнины, связывая ее и с патологической жестокостью царя, Виппер-старший именно в опричнине видел положительную для Московского государства сторону деятельности Грозного.

Подобное отношение к Грозному вполне устраивало Сталина. В результате последовало приглашение Виппера-старшего в Советский Союз на совершенно исключительных условиях: звание академика, место, должность, квартира и всевозможные привилегии, в число которых входило и устройство судьбы сына. Впрочем, Виппер-младший устраивал идеологов Старой площади и по своим общим установкам в отношении смысла развития мирового искусства. По выражению Г.А. Недошивина, он был предельно прямолинеен и прост: от примитивизма неумения до высот подлинного мастерства, от

«не умею» к «умею». В этом нехитром ряду неуместно возникали импрессионисты и иже с ними, тем более авангард, которые истолковывались как своеобразные ошибки истории или род заразного заболевания, которое следовало преодолеть, чтобы продолжать истинное развитие культуры. Соответственно программы искусствоведческого отделения МГУ прерывались на середине XIX века.

Исключение составляли наши передвижники. В западном искусстве исключений не было, и тем не менее парадокс времени: из пятидесяти двух выпускников первого набора искусствоведов сорок девять выбрали специализацию по Западу и только трое по отечественному искусству. Жизнь внесла еще одну коррективу: по специальности стало работать всего несколько человек, многие разошлись по канцелярским должностям или на не слишком понятных должностях при образовавшихся Домах моделей всех уровней.

Между тем Иван Грозный неизменно оставался «горячей точкой» и в науке, и в искусстве. С него начинается тотальный разгром культуры в 1948 году – уничтожение Сергея Эйзенштейна. К нему обращается и журнал «Русская провинция» в лихие девяностые. Позиция журнала – сохранение национального духа и духовных ценностей только в условиях незатронутой технической цивилизацией провинции. Ошибка редакции заключалась в выборе автора. Договор, заключенный на двенадцать статей о духовном облике русского человека, прервался на четвертой теме. С известными оговорками прошли эссе о Иване Грозном, Боярыне Морозовой, портрете Мусоргского кисти Репина. Но образ «Пустынника» М.В. Нестерова, был начисто от-

вергнут – вместо него редакция желала видеть портрет Маршала Жукова на белом коне кисти П.Д. Корина. «Нам нужен образ всепобеждающего архангела, а не забитого старика!»

Остается добавить, что основной труд Б.Р. Виппера – «Развитие реализма в голландском искусстве».



...Молодец Репин, именно молодец. Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее в цель... И хотел художник сказать значительное и сказал вполне ясно.

Л. Н. Толстой – И. Е. Репину. 1885.

Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения. Трудно понять, какой мыслью задается художник, рассказывая во всей реальности именно такие моменты. И к чему тут Иван Грозный?

Победоносцев – Александру III. 1885.

И в самом деле: почему Грозный? Друзья и недоброжелатели, одинаково недоумевали. После «Бурлаков», «Проводов новобранца», «Крестного хода в Курской губернии», после «Не ждали» и великолепных портретных полотен – вдруг история! Вернее – снова история. Промелькнувшая шестью годами раньше «Царевна Софья» никого не взволновала. Правда, И.Н. Крамской вежливо похвалил за живописное мастерство, В.В. Стасов обрушился на неправильную, с его точки зрения, трактовку образа самой умной, образованной и талантливой

женщины Древней Руси. Но все открыто или молчаливо сошлись на том, что история не для Репина. И вот новая попытка, да еще в связи с самым расхожим персонажем выставок последних лет. Кто только не писал царя Ивана, кто не выискивал колоритных подробностей его бурной жизни! На этом сходились и передвижники, и участники академических салонов, начиная с середины еще шестидесятых годов.

Начало всему положила первая часть драматической трилогии Алексея Константиновича Толстого, появившаяся в печати в 1866-м и поставленная на сцене Александринского театра годом позже, – «Смерть Ивана Грозного». Попытка увидеть в легендарной личности смертного человека со всеми его слабостями и страстями. Отец, муж, вечный искатель женской юности и красоты, неврастеник, не умеющий обрести душевного равновесия даже перед лицом государственных дел, – все казалось откровением, тем более в поражавших современников своей исторической достоверностью костюмах и декорациях В.Г. Шварца, к которому обратился императорский театр. Когда через 14 лет в открывающейся Русской Частной опере С.И. Мамонтова Репин будет восхищаться декорациями и костюмами Виктора Васнецова к «Снегурочке» А. Н. Островского, он обратится памятью к петербургской постановке: «А с этими вещами могут сравняться только типы Шварца к «Ивану Грозному».

Дальше страницы биографии царя Ивана раскрывались год за годом. 1870-й – «Иван Грозный и Малюта Скуратов» Г.С. Седова: два пожилых человека, мирно беседующих о неспешных делах. 1872-й – «Иван Грозный» М.М. Антокольского, объехавший всемирные выставки в Лондоне, Вене и Пари-

же. Возражая против обвинения скульптора В.В. Стасовым в неспособности к единственно необходимой в искусстве активной драме, Репин спустя почти десять лет писал: «И этот мерзавец, Иван IV, сидит неподвижно, придавленный призраками своих кровавых жертв, и в его жизни взята минута пассивного страдания. Я вижу в Антокольском последовательность развития его натуры, и напрасно Вы огорчаете его, особенно теперь, когда человек уже выразился ясно и полно».

1875-й – картина А.Д. Литовченко «Иван Грозный показывает свои драгоценности английскому послу Горсею». Репинское разоблачение сути Грозного так же далеко художнику, как и вновь возвращающемуся к старой теме Г.С. Седову, показывающему в 1876 году полотно «Царь Иван Грозный любит на спящую Василису Мелентьевну». Снова натюрморт из великолепных тканей, драгоценностей, стенных росписей терема и образ благообразного старца. Известным исключением оказывается в 1882 году картина В.В. Пукирева «Иван Грозный и патриарх Гермоген», драматическая по сюжету и успокоенно бытовая по решению. 1883 год приносит работу еще одного передвижника – Н.В. Неврева «Посол Иоанна Грозного Писемский смотрит для него в Англии невесту, племянницу Елизаветы Марию Гастингс». Миф Синей бороды одинаково привлекал воображение художников и зрителей. Наконец академическая выставка 1884 года приносит получившую большую золотую медаль картину С.Р. Ростворовского «Послы Ермака бьют челом царю Ивану Грозному, принося покоренное Ермаком царство Сибирское» (подаренную затем Академией художеств вновь создаваемо-

му Екатеринбургскому музею). Следующее место в этом ряду принадлежало Репину.

Историческая картина – с четко выверенным мизансценическим построением, старательно уложенными на фигурах «историческими одеждами», множеством отысканных в музеях и увражах подлинных или правдоподобных деталей, благообразными лицами, широкими театральными движениями и жестами – ее не представлял и не хотел себе представлять Репин. Он, будто взрывается всей гаммой простых человеческих чувств – отчаяния, потрясения, жалости и гнева, бешеного гнева против насилия, бесправия, безропотности, против права одного отнять жизнь у другого, стать хозяином живота и смерти, творить свою волю вопреки заветам божественным и человеческим. Поиски типажа, исторических костюмов, правдоподобности обстановки – все имело и все не имело значения. Время, сегодняшний день – они обрекали художника на работу.

«Как-то в Москве, в 1881 году, в один из вечеров, я слышал новую вещь Римского-Корсакова «Мечь». Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создано у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване. Это было в 1881 году. Кровавое событие 1 марта всех взволновало. Какая-то кровавая полоса прошла через этот год... я работал завороченный. Мне минутами становилось страшно. Я отворачивался от этой картины, прятал ее. На моих друзей она производила то же впечатление. Но что-то гнало меня к этой картине, и я опять работал над ней...»

Со временем Игорь Грабарь скажет, что успех пришел

к Репину именно потому, что он создал не историческую, в хрестоматийном смысле этого понятия, картину, не «историческую быль» – которой, впрочем, никогда и никакой художник восстановить не может, – но «страшную современную быль о безвинно пролитой крови». Первые шаги в отношении типов действующих лиц драмы Репину подскажет его единственный учитель Павел Петрович Чистяков. Художник бывает у Чистякова на его даче в Царском Селе, и здесь Павел Петрович покажет ему старика, ставшего прототипом царя. Потом на него наложатся черты встреченного на Лиговском рынке чернорабочего – этюд был написан прямо под открытым небом. А во время работы над холстом Репину будет позировать для головы Ивана художник Мясоедов. Разные люди, разные судьбы и поразительный сплав того, что можно назвать не характером, но символом понятия, против которого бунтует Репин: «Что за нелепость – самодержавие. Какая это неестественная, опасная и отвратительная по своим последствиям выдумка дикого человека».

Казалось бы, слишком легко меняющий свои суждения, казалось бы, легко попадающий в плен новых впечатлений, весь во власти эмоциональных увлечений, здесь Репин совершенно непримирим. Когда у многих памятник Александру III Паоло Трубецкого вызовет внутренний протест, обвинение в нарушении привычных эстетических канонов, он будет в восторге от гротескового характера портрета. Его славословия в адрес автора вызовут откровенное недовольство при дворе и взрыв негодования официальной печати. И тем не менее Репин, всегда очень сдержанный на траты, решит устроить в честь памятника в ресторане Контана в Петербурге банкет на 200 человек. Дру-

гое дело, что разделить откровенно его взгляды решится только десятая часть: за стол сядет всего 20 приглашенных. Если в его натуре чего и нет, то это психологии дворового человека, которая захватывала всю служившую Россию. Презрение к барину, но и откровенное захребетничество, нежелание работать, но глубочайшая убежденность в обязанности барина содержать каждого, кто умеет быть холуем.

«Самая отвратительная отравка всех академий и школ есть царящая в них подлость. К чему стремится теперь молодежь, приходя в эти храмы искусства? Первое: добиться права на чин и на мундир соответствующего шитья. Второе: добиться избавления от воинской повинности. Третье: выслужиться у своего ближайшего начальства для получения постоянной стипендии». Когда в 1893 году произойдет реформа Академии художеств, доставившая Репину и руководство творческой мастерской, и звание профессора, и членство в Совете, его позиция останется неизменной. Он будет протестовать против всякой оплаты членам Совета, вплоть до полагавшейся пятерки на извозчика в дни заседаний, чтобы не попасть в зависимость от академического начальства, не дать основания для малейшего давления на мнения художников.

Он не был, не мог по возрасту быть членом Артели, из которой возникло Товарищество передвижных художественных выставок. Он знал ее недолгую историю и несчастливый конец – никто не захотел делиться заработанными деньгами с товарищами и поступаться личными удобствами ради других, – но, оказывается, идею И.Н. Крамского пронес через всю жизнь, чтобы на склоне лет, в чужой Финляндии, попытаться ее вновь

воплотить. Это была коммуна производственно-учебного типа, члены которой делили между собой всю прибыль соответственно с количеством и качеством сделанной ими работы, пользуясь общим столом, жильем и даже гарантированной одеждой.

И еще – на примере того же Крамского – паническая боязнь превратиться в баловня судьбы и славы. В подобном воплощении, по убеждению Репина, художник неизбежно переставал быть художником. Он писал о «строгой жизни» в Москве В.И. Сурикова, но сам в Петербурге, в зените своей славы, обедал не в ресторанах, а в дешевых столовых. Предпочитал извозчикам самые дальние пешие прогулки. Сам убирал свою комнату, топил печи, сам чистил свою палитру.

Темпераментный, увлекающийся, чуткий к каждому новому явлению в искусстве, восторгающийся или протестующий, Репин даже на склоне лет способен судить самого себя за поспешность оценок, за непродуманность поступков. Живой, он и в товарищах по искусству видит живых, легко ранимых, безоружных перед общежитием людей. «Я теперь без конца каюсь за все свои глупости, которые возникали всегда – да и теперь часто – на почве моего дикого воспитания и необузданного характера. Акселя Галлена (финского художника – Авт.) я увидел впервые на выставке в Москве. А был я преисполнен ненависти к декадентству... А эти вещи были вполне художественны... Судите теперь: есть отчего, проснувшись часа в два ночи, уже не уснуть до утра – в муках клеветника на истинный талант... Ах, если бы вы знали, сколько у меня на совести таких пассажей».

В этой неустанной работе совести, стремлении понять себя и понять других приходит решение образа Грозного как че-



ловека и как явления русской истории, именно русской. На это можно было откликаться или оставаться глухим – дело жизненной позиции каждого зрителя. «Сенатор Крамской», как его станут называть к этому времени передвижники, предпочтет чисто человеческую драму случайности.

«...Люди с теориями, с системами, и вообще умные люди чувствуют себя несколько неловко. Репин поступил, по-моему, даже не деликатно, потому что только что я, например, установился благополучно на такой теории: что историческую картину следует писать только тогда, когда она дает канву, так сказать, для узоров, по поводу современности, когда исторической картиной, можно сказать, затрагивается животрепещущий интерес нашего времени, и вдруг... Изображен просто какой-то не то зверь, не то идиот... который воет от ужаса, что убил нечаянно своего собственного друга, любимого человека, сына... А сын, этот симпатичнейший молодой человек, истекает кровью и беспомощно гаснет. Отец схватил его, закрыл рану на виске крепко, крепко рукою, кровь все хлещет, и отец только в ужасе целует сына в голову и воет, воет, воет. Страшно...»

Для Л.Н. Толстого все иначе: «У нас была геморроидальная, полоумная приживалка-старуха, и еще есть Карамзиков-отец. Иоанн ваш для меня соединение этой приживалки и Карамзиков. Он самый плюгавый и жалкий убийца, какими они должны быть, – и красивая смертная красота сына. Хорошо, очень хорошо... Ну прощайте, помогай вам бог. Забирайте все глубже и глубже».

Непосредственная работа над картиной заняла весь 1884-й и январь 1885 года – едва ли не самый трудный период в жи-

зни Репина. Он имел все основания воскликнуть: «Сколько горя я пережил с нею, и какие силы легли там. Ну да, конечно, кому же до этого дело? «Силы пережить и силы понять: Грозный – это великое прозрение мастера, к которому он пришел без документов, фактов, свидетельств – всего того, что раскрылось перед историками наших дней.

...Страх. Звериный страх. Пеленой перед глазами. С липким холодным потом. Отступающим сознанием. Немеющими руками. Отчаянным криком, комом застревающим в горле, чтобы вырваться сдавленным шепотом: «Господи... Господи... Господи... «Страх, рождающий предательство, и предательство, рождающее ненависть, – богом проклятый круг, в котором катилась жизнь. В двадцать лет он, царь Всея Руси Иоанн IV, скажет: «От сего... вниде страх в душу мою и трепет в кости моя и смирися дух мой». Через считанные дни после венчания на царство москвичи обвинили в пожаре, уничтожившем всю Москву в стенах города, взорвавшем кремлевские башни и стены, где хранился боевой порох и ядра, едва не стоившем жизни митрополиту Макарию – обронули его, спуская на веревках из горевшего Кремля, с растрескивавшихся стен, – царскую бабку. Будто литовская княгиня Анна Глинская «волхованием сердца человеческие вымаша и в воде мочиша и тою водою кропиша, и от того вся Москва выгоре». Сына ее, царского родного дядьку князя Юрия Глинского, выволокли из Успенского собора и на площади порешили.

Семнадцатилетний царь к народу не вышел. Своих не отстоял. Бежал с новообвенчанной супругой Анастасией Романовной в село Воробьево. Затаившись ждал, как двое суток

оставалась столица в руках разбушевавшегося народа, как 29 июня 1547 года «многие люди черные» скопом и в полном вооружении, «якожи к боеви обычай имяху» – как выходили защищать родной город от иноплеменных войск, отправились в Воробьево. Все обещал им – выдать своих по матери родных, князей Глинских, зачинщиков смуты простить, править милосердно и справедливо. Лишь бы не пришибли. Лишь бы ушли. А там... Там последовал жесточайший розыск зачинщиков.

Только началось все много раньше с другой бабки. Великой княгини московской Софьи Фоминишны, второй супруги деда Ивана III. Не было за душой красавицы-гречанки Зои Палеолог ни богатого приданого, ни отеческих владений. Соблазнить московского князя удалось Риму и Ватикану другим – родством с византийским императорским домом, призрачными правами нищей принцессы на некогда великий престол. Ехала принцесса Зоя обращать мужа и его государство в католическую веру – в Ватикане знали ее крутой нрав. С той же решительностью отмахнулась от всех своих обещаний, сама приняла православие – лишь бы стать владельницей московской державы. Ее Москва, ее столица. И ее единственный сын.

Положим, был объявленным наследником сын Ивана III от первой жены. Положим, после ранней его смерти «объявил» государь внука, а не сына деспины: слишком любил и первенца своего, и невестку Елену Волошанку. Всех сумела Софья Фоминишна в глазах супруга очернить, ото всех его сердце отворачивать. Сначала лишит великокняжеской милости, а там и заточить в тюрьму. Напрасно на смертном одре Василий III просил прощения у внука, говорили, что восстановил в правах наслед-

ника великокняжеского престола. Привели к деду княжича из темницы, в темницу и вернули. И хоть уже не было в живых Софьи Фоминишны – умерла раньше мужа, – Василий III при не слишком любившем его отце со всем справился сам. От старой знати отшатнулся – она ему помогать не стала. Предпочел тех, кто раньше силы при дворе не имел, о власти только мечтал. Потому и женился не так, как хотел отец, не на чужеземной принцессе, чтобы еще теснее связать Московское государство с Европой, а на местной и не знатной невесте. Чем могли бахвалиться Сабуровы, кроме того, что стала их Соломония великой княгиней.

Двадцать с лишним лет жизни в любви и согласии и – решение о разводе. Немыслимое для церкви и царедворцев, необъяснимое для княгини. Кто-то пытался найти причину в бездетности великокняжеской пары – но не они первые, не они и последние могли уступить престол соответствующему родственнику. Кто-то толковал о редкой красоте литовской княжны Елены Глинской – только когда романтические истории были способны изменять государственные расчеты. Василий III расставался с Соломонией тяжело и неизбежно. Внешнеполитических соображений было множество. Укрепить обращенный против литовского князя Сигизмунда русско-молдавский союз. Добиться династического соединения Северо-Восточной Руси с западнорусскими землями – русские князья умели собирать державу, заботиться о ее будущем. Возобновить борьбу за наследие ханов Золотой Орды – Глинские вели свой род от ханов Большой Орды, от самого Чингизида Ахмата. Не последнее место занимала и мысль о более успешных переговорах с Империей



– император Максимилиан покровительствовал Михаилу Глинскому, который, в свою очередь, мог бы стать влиятельным и надежным опекуном еще не родившегося наследника Василия III.

И напрасно кричала княгиня Соломония о насилии и предательстве под сводами Рождественского собора московского Рождественского, что у Трубной площади, монастыря. Напрасно срывала силой надеваемое на нее монашеское одеяние, билась в отчаянии о каменные плиты пола под ударами плетей присутствовавших при насильственном постриге бояр. Как простой бабе во все времена, не помогли ни бывшая верность, ни даже младенец, который, как утверждали слухи, зашевелился под сердцем. Василий III сделал свой выбор, хотя позже и отправил доверенных в монастырь разведать о ребенке, который мог помешать его планам. Просто слухи? Но Грозный, едва оказавшись на престоле, захотел увидеть дело тех, кто ездил в Суздаль. И всю жизнь искал. Искал Кудеяра-атамана.

Слухи? Но когда в начале 1930-х годов в Покровском Суздальском монастыре спешно уничтожались погребения знатных узниц нашего Средневековья – монастырь служил самой надежной и самой привилегированной женской политической тюрьмой, рядом с надгробием великой княгини Соломонии, в монастыре Софьи, было обнаружено детское погребение, заключавшее вместо останков младенца куклу в дорогом, расшитом жемчугами свивальнике. По-видимому, ложное погребение действительно спасенного и куда-то вывезенного младенца.

Была у молодой великой княгини Елены красота. Было здоровье, – если думать о наследнике. Но был – вещь неслыханная в Москве! – сердечный друг, которого Елена чуть не сразу

после замужества ввела во дворец. Иван Федорович Овчина-Телепнев и сам прижился в теремах, и ввел в них свою сестру Аграфену Челяднину мамкой к родившемуся у княгини первенцу Ивану.

Москва настоженно наблюдала – и ждала беды. Родила княгиня будущего Грозного в день апостолов Варфоломея и Тита, как предсказал юродивый Дометий: «Родится Тит – широкий ум». При предсказаниях самых страшных. По словам составителя Новгородского свода от 1539 года, «внезапу бысть гром страшен зело и блистание молнину бывшу по всей области державы их, яко основание земли поколебатися; и мнози по окрестным градом начаша дивитися таковом у страшному грому». Рождение через год брата Грозного Юрия никакими приметам отмечено не было. Ребенок же оказался «несмыслен и просто и на все добро не строен». Слабоумие его определилось почти от рождения.

А еще через год не стало 54-летнего великого князя Василия III, и снова при обстоятельствах, поражавших народное воображение. Лето 1533 года было отмечено сильнейшим ураганом и засухой – до сентября не выпало ни капли дождя. По словам летописца, «леса выгореша и болота водные высохша... мгла толь бе велика, якоже и птицъ вблизи не узрит, а птицы на землю падаху». Четвертого июня появилась «звезда с долгим хвостом», стоявшая в небе несколько ночей, 19 августа произошло солнечное затмение – «солнце гибло третьего часа дни». В сентябре же Москву залила кровь – казнили многих москвичей, смолян, костромичей, вологжан, ярославцев и других за подделку монет.

На великий московский праздник – день Сергия Радонежского великий князь с семьей отправился, по обычаю, к Троице, а оттуда на «свою потеху» – охоту в село Озерцкое на Волоке. Здесь и «явился у него мала болячка на левой стороне на стегне на згибе, близ нужного места, з булавочную голову, верху же у нее несть же, а сама багрова». Василий Иванович не нашел причины прервать задуманную поездку, побывал в Нахабине, Фуникове, Волоколамске, селе Колпь. Лечился походя, но в Колпи болезнь взяла верх. Пришлось задержаться в селе на две недели, и на Волок «понесоша его на носилках дети боярские пеши и княжата на себе». И только в середине ноября на специально приспособленной повозке, с частыми остановками, великого князя повезли в столицу. Чтобы не пугать москвичей, два дня готовили в Воробьеве к въезду в город, 23 ноября доставили в Кремль. А в ночь с 3 на 4 декабря Василия III не стало. Исчезла и духовная, которую составил великий князь во время болезни.

Москва не сомневалась, что перейдет правление в руки братьев покойного и Михаила Глинского, пока «не войдет в возраст» трехлетний Иван. Только все вышло иначе. Властной рукой великая княгиня перехватила кормило власти. Брат Василия III, князь Юрий Иванович, оказался в тюрьме. Андрей Иванович Шуйский, возмущавший против правительства помещиков и детей боярских, тоже. Знатнейшие вельможи Семен Бельский и Ляцкий бежали от возможной расправы в Литву. Не пощадила Елена и собственного дядю: за первое же сказанное против Овчины-Телепнева слово бросила в кремлевскую темницу. Впрочем, и самому Овчине полной воли не

дала. Распоряжаться позволяла, но каждый приказ проверяла, каждый готова была отменить.

Любила ли детей? Думала ли о них? Во всяком случае, Грозный вспоминал одну мамку, за нее в свои восемь лет просил бояр, когда не стало в 1538 году великой княгини. Всю жизнь забыть не мог, как сапоги боярские целовал. Не помогло! Елену Васильевну, по убеждению современников, отравили. Овчина-Телепнев был уморен голодом в тюрьме. Аграфена Челяднина пострижена в Каргополе. Жизнь Ивану сохранило не чудо – расчеты боярских партий. Из такого же расчета братья Михаил и Юрий Глинские, забыв нанесенные им племянницей обиды, помогли внучатому племяннику вступить на престол. 16 января 1547 года состоялось первое на русской земле венчание на царство. Титул царя делал Ивана IV равным по чину императору, иначе говоря – ставил выше европейских королей. Тем самым Москва становилась «царствующим градом», а все государство – Российским царством.

В эти первые годы своего правления Иван IV становится отцом: в 1552 году приходит на свет его первенец царевич Дмитрий. Иван с царицей Анастасией, царевичем «и со всеми князьями и з бояры» отправляется на богомолье молиться честным угодникам «о мире и о тишине и о устроении земstem». Дорога лежала в Кирилло-Белозерский монастырь. Но вернулась царская чета без сына. И самое непонятное – разные источники по-разному объясняют гибель царевича. Для одних младенец утонул в Шексне, выскользнув из рук няньки. Для других умер от «зельной болезни». Убитые горем родители посетили на обратном пути Никитский монастырь, сетовали

на свою потерю игумену и – получили утешение.

В Милютинских Четьях-Минях за май месяц помещена «Повесть о свершении большия церкви Никитского монастыря» в Переяславле-Залесском, где приводятся подробности этого события. Царь ночевал в монастыре «на своем царском дворе», и с этой ночи царица зачала. 30 марта родила она сына, которому наречено имя Иоанна Лествичника. Но родительская радость часто омрачалась недугами ребенка. Через два месяца после рождения царевич Иван Иванович заболел «зельною болезнию», от которой его спасли мощи святого Никиты. «Но на второе лето в то же время случися паки царевичу Ивану немощь», и снова младенца удается вылечить освященной водой от мощей Никиты. В благодарность родители дают обет восстановить Никитский монастырь. И отстраивают в нем каменные церкви, стены, вносят большой колокол. Плащаницу на гроб святого Никиты вышивает собственноручно царица.

«Сказание о новейших чудесах» сохранило поразительное по живости описание переживаний родителей. «Царь же и царица в вяще печали зряще отрачатк своего зельне страждуще. Иоанн же царевич некою боярынею носим бе на руках. Царь же и царица руце простирающи ко образу создателя бога и пречистой его матери пресвятей богородице, и к великим угодником божиим, и тепле вопиюще, и умилино молящися, и слезы испущающе, поне бы малу ослабу уллучити отроче своему от зельных его болезни. И окрест стояще ближнии приятели государевы мужие и жены, вси молящися и слезы испущающе, не токмо царевича видяще, зле болезнуема, но и благоверного царя с царицею в велицей печали и скорби...»

Без малого четырнадцать лет супружеской жизни, и внезапная кончина царицы Анастасии. Грозный не сомневался: от яда. Подозрение оправдывало жестокость расправ при дворе. В новую думу вошли Алексей Басманов, постельничий Василий Наумов, ясельничий Петр Зайцев. Царь стремился к ослаблению княжеско-боярской оппозиции, в которой не последняя роль принадлежала родным Анастасии Романовны. Теперь они становились одинаково не нужны и опасны. Ровно через год в теремах появится новая царица – Мария Черкасская, дочь феодалного кабардинского князя Темир Гуки-Темрюка. И вместе с ней ее брат, страшный своей жестокостью Кострюк-Момстрюк народных сказаний, которому Грозный поручит руководство впервые образованной опричниной. Приехавший в Москву с королевскими грамотами и подарками 20 августа 1561 года Антоний Дженкинсон не может получить приема. По его словам, «его высочество, будучи очень занят делами и готовясь вступить в брак с одной знатной черкешенкой магометанской веры, издал приказ, чтобы ни один иностранец – посланник ли или иной – не появлялся перед ним в течение некоторого времени с дальнейшим строжайшим подтверждением, чтобы в течение трех дней, пока будут продолжаться торжества, городские ворота были заперты и чтобы ни один иностранец и ни один местный житель (за исключением некоторых приближенных царя) не выходил из своего дома во время празднеств. Причина такого распоряжения до сего времени остается неизвестной».

Причина не выяснилась и впоследствии. В водовороте дворцовых перемен забылось, что у новобрачного два сына и что наследнику – царевичу Ивану Ивановичу – всего семь



лет. Его будущему не угрожало ничто: у царицы Марьи год за годом приходили на свет тут же умиравшие дочери, у последующих жен царя вплоть до последней – Марии Нагой – вообще не было детей.

Характер наследника, его положение – о них трудно судить. Русские летописи и документы почти не упоминают будущего самодержца, иноземцы ограничиваются согласным утверждением, что это сколок отца и в нраве, и в пороках. Портрет же Грозного очень выразительно рисует И. М. Катырев-Ростовский в законченной в 1626 году «Повести книги сея от прежних лет». «Царь Иван образом нелепым (некрасивым – Авт.), очи имея серы, нос протягновен, покляп; возрастом (ростом – Авт.) велик бяше, сухо тело имея, плещи имея высоки, груди широки, мышцы толсты; муж чудного рассуждения, в науке книжного почтения доволен и многоречив зело, ко ополчению дерзостен и за свое отечество стоятель. На рабы, от бога данные ему, велми жестоко серд, на пролитие крови и на убиение дерзостен велми и неумолим; множество народу от мала и до велика при царстве своем погуби, и многия грады свои поплени... Той же царь Иван многая и благая сотвори, воинство велми любяще и требующая им от кровниц своих неоскудно подаваше. Таков бе царь Иван».

Царевич Иван Иванович сопровождает отца в походах, принимает послов, но не приобретает с годами никакой самостоятельности. И за этим положением сына Грозный следит очень строго, как и за возможностью появления у него потомства.

Один из самых тяжелых для Московского государства – 1571 год. Голод. Моровая язва. Чума. Нашествие на Москву Девлет-Гирея. Погибшее в огне Заниглименье, Китай-город,

частично Кремль. Первая расправа с опричниной: казнь главнокомандующего опричным войском, брата незадолго до того скончавшейся царицы Марьи Темрюковны Михаила Черкасского и других начальников. Начало войны со Швецией. И наперекор судьбе грандиозный выбор царской невесты. На суд Грозного в Александрову слободу было привезено полторы тысячи девиц.

Впрочем, выбор царской невесты состоялся загодя. Свахи – жена Малюты Скуратова и дочь царского любимца, будущая царица Мария Годунова, как и дружки – сам Малюта и его зять Борис Годунов, убедили Грозного в необходимости жениться на их родственнице Марфе Собакиной. Заодно, для полноты торжества, Грозный решает женить наследника и нескольких царедворцев. Царевичу предназначается Евдокия Богдановна Сабурова, тоже из одного рода с Годуновым. Судьба оказывается неблагоприятной к обеим. Марфа Собакина умирает «не разрешив девства», Евдокия Сабурова через несколько месяцев ссылается свекром в монастырь. Ей предстояло провести почти полвека в стенах московского Ивановского, что в Старых садах под Бором монастыря под именем монахини Александры.

В том же монастыре окажется и вторая насильно постриженная супруга царевича Прасковья Михайловна из рода Соловых. Грозный выбрал ее для сына. Он же ее и сослал сначала на Белоозеро, где происходит ее насильственный постриг, а позже во Владимир. Московский монастырь выглядел родом царской милости. Прожила царица Прасковья так же долго, как ее предшественница, умерла с ней в один год, так же была впол-

ледствии похоронена в Вознесенском монастыре Кремля – усыпальнице великих княгинь и цариц.

Третья жена досталась царевичу, когда Грозный взял во дворец Марию Нагую. Теремной век Елены Шереметевой стал еще более коротким. Часть современников готова была видеть именно в ней причину гнева Грозного и его ссоры с сыном. Впрочем, летописцы молчали или ограничивались безликим оборотом о смерти царевича в Александровой слободе – сведения, сохранившиеся и на могильной плите. Исключение представляли псковичи. Это автор Псковской летописи один решился написать: «Глаголют нецьи, яко сына своего царевича Ивана того ради остием (острым концом посоха – Авт.) поколол, что ему учал говорити о выручении града Пскова». Будто просил отца направить его во главе русского войска в помощь осажденному Баторием Пскову. В историю с невесткой поверить трудно – слишком мало придавали значения и отец и сын появлявшимся в их жизни женщинам, полководческие же мечты 27-летнего наследника понятны. Он до конца своих дней помнил, что в 1568 году считался претендентом на польскую корону. В двадцать пять попытался утвердить себя хотя бы в литературе – написал Житие святого Антония, плохую риторическую переделку сочинения старца Ионы. И только честолюбие сына могло вызвать безудержный гнев самодержца.

19 ноября 1581 года. Ранение сына. И очередной взрыв отчаянного страха. Детоубийство – существует ли в православии больший грех! Грозный, как покаяние в содеянном, признал невинно убиенными всех жертв опричнины, приказал немедленно составить синодик с именами казненных. Хотел

отказаться от престола. И пытался сохранить жизнь царевичу. Врачи, знахари, ведуньи, колдуньи – все советы выполнялись и ничто не могло помочь. Даже самое последнее средство – сырое тесто, которым обкладывалось тело раненого. Есть в нем жизненные силы, – опара станет подыматься, а вместе с опарой и больной, опадет – надеяться не на что. Тесто опало. Через несколько дней царевича Ивана Ивановича не стало.

За телом сына Грозный пошел к Троице, где доверил тайну убийства трем монахам – «плакал и рыдал» и «призвал к себе келаря старца Евстафия, да старца Варсонофия Иоакимова, да тут же духовник стоял его архимандрит Феодосий, только трое их... «Евстафий, в миру Евфимий Дмитриевич Головкин, начиная с 1570 года тридцать лет управлял всем хозяйством монастыря и к тому же оставил по себе память как талантливый иконописец. Памятью о нем остались в Лавре икона Сергия Радонежского и складень «Явление Богоматери Сергию». После смерти царя Федора Иоанновича состоял Евстафий членом Земской думы, избравшей на царство Бориса Годунова.

Только долгим царское «сокрушение» не было. Грозный распорядился невестку постричь в московском Новодевичьем монастыре. Сам же принялся торопить послов со сватовством к племяннице английской королевы, раз та сама не захотела стать его женой. До кончины царя оставалось еще три года.

...Художник боролся с картиной как с тяжелым недугом. Рвался сказать все, что наболело, высказаться до конца. Рядом с Грозным возникает образ царевича, исторически никак не заслужившего приобрести черты нежно любимого Репиным Все-

волода Михайловича Гаршина. Но писатель стоял на пороге своего ухода из жизни, и на эту внутреннюю предопределенность не мог не отозваться художник. Разве чуть ослабить просветленность Гаршина отдельными портретными чертами художника В.К. Менка.

Впечатление от картины на выставке, происходившей в Петербурге в доме князя Юсупова на Невском проспекте с 10 февраля по 17 марта 1885 года, было огромным. И у тех, кто ее принимал, и у тех, кто отвергал. Чуть ли ни в день вернисажа начинаются разговоры о ее запрещении. Секретарь Академии художеств ссылается не на смысл – на некие анатомические и перспективные ошибки. Профессор Военно-медицинской академии Ф.П. Ландцверг читает по этому поводу «разоблачительную лекцию», которую затем выпускает в свет в виде брошюры. В газете «Минута» появляется заметка, утверждающая, что идея картины заимствована Репиным у некоего студента. Это последнее утверждение, хотя и было затем публично опровергнуто, имело под собой известное основание. «Иван Грозный у тела убитого им сына» – тему, которую Академия художеств предложила претендентам на медали в 1864 году и по которой В.Г. Шварц написал удостоенную награды картину.

Но если репинскому полотну и удалось избежать административных мер в Петербурге, они настигли его в Москве. 1 апреля 1885 года благодаря представлению обер-прокурора Синода Победоносцева оно было снято с выставки. Приобретший картину П. М. Третьяков получил предписание хранить ее в недоступном для посетителей месте – запрет, снятый через

три месяца по усиленному ходатайству близкого ко двору художника Боголюбова. Через четверть века «Ивану Грозному» предстояло еще более трагическое испытание.

Шестнадцатого января 1913 года иконописец из старообрядцев Абрам Балашев трижды ударил картину ножом. Удары пришлись по лицам Грозного и царевича. «Грозного» пришлось перевести на новый, наклеенный на дерево холст. Эту техническую часть работы осуществили лучшие русские реставраторы тех дней – приглашенные из Эрмитажа – Д.Ф. Богословский и И.И. Васильев. Восстановить живопись должен был сам приехавший из Куоккалы Репин. К этому времени возглавлявший Третьяковскую галерею глубоко потрясенный случившимся И.С. Остроухов подал в отставку. Его место по решению Московской городской думы занял Игорь Грабарь.

Грабаря не было в Москве, когда Репин приступил к реставрации, а точнее – заново написал голову Грозного. Со времени создания картины прошли годы и годы. Манера художника изменилась, изменилась и трактовка им цвета. Репин ничего не восстанавливал. Он писал так, как ему стало свойственно. Кусок новой живописи заплатой лег на старую картину. По счастью, автор сразу уехал, а разминувшийся с ним на несколько часов Грабарь увидел еще свежие краски. Решение Игоря Эммануиловича было отчаянным по смелости. Он насухо стер положенные Репиным масляные краски и заправил, как выражаются специалисты, потерянные места акварелью, покрыв ее затем лаком. Отсутствующий по контуру нос царевича удалось восстановить благодаря очень хорошему фотографиям.



Через несколько месяцев Репин оказался в галерее, долго стоял перед картиной, но так и не понял, произошло ли с ней что-нибудь или нет. Его бунт совести, его суд и приговор продолжал жить с той же пламенной убедительностью, как и в середине далеких восьмидесятых. Возвращаясь к словам Игоря Грабаря – «страшная современная быль о безвинно пролитой крови».



ЛИХАЯ СУДЬБИНА

Как странно Вы спросили: нравится ли мне суриковская «Боярыня Морозова». Что значит – нравится? «Боярыня Морозова» – это данность русской истории, русского характера, русской женщины, наконец.

А. И. Сумбатов-Южин. 1909.

Как приходит к нам осмысление истории, а вместе с ней человека в свое время и на своей земле? Через хрестоматийные истины школьных учебников и институтских лекций? Через сенсационные открытия газет и журналов? Или все-таки сначала через произведения искусства – и потом уже запомнившийся образ будет спорить в нашем сознании с концепциями ученых, почти никогда не совпадающих с эмоциональными прозрениями писателя, художника, актера.

В этом извечном споре художник выигрывает тем вернее, чем талантливее его произведение. А талантливость определяется прежде всего остротой восприятия мастером окружающей действительности, его сегодняшнего дня, выражению которого – и это не менее важно! – нужно найти такую же остро-современную форму. «Бей прошедшим в настоящее, и тройной силой отзовется твое слово», – так говорил Гоголь.

...Есть в Москве уголок, который вызывает совсем осо-

бенное ощущение. Пречистенские ворота – со всеми приметами современного города. Станция метро. Карусель троллейбусов. Газон на месте старых домов. Открытые реставраторами палаты XVII века. Притулившийся на ходу памятник идеологу учения, в которое перестали верить. И щемящее чувство пустоты.

Недавно снесенный угловой дом – первая московская квартира Василия Ивановича Сурикова. В ней он работал над первым и единственным в своей жизни заказом – для храма Христа Спасителя. Здесь родился сюжет одного из лучших полотен художника – «Боярыни Морозовой».

В некогда стоявшем на месте храма Христа древнем Алексеевском монастыре в семнадцатом столетии пытали женщин-узниц. Сюда привезли на мучения 19 ноября 1671 года сначала княгиню Авдотью Урусову, потом ее сестру Федосью Морозову, чтобы силой заставить отречься от своей веры. А у ворот монастыря стояли толпы москвичей и с трепетом душевным ждали, кто победит в неравном поединке: палачи или узницы. Федосья и Авдотья не покорились. Они так и остались в народной памяти символом бунта против насилия, против своеволия власть имущих, символом способности человека до конца постоять за свободу своего духовного мира.

Спустя два века, в 1887 году, на XV Передвижной выставке появилась знаменитая картина. Впрочем, слава пришла к ней позже. Сначала мнения зрителей разделились. Выставку отличало редкое богатство вошедших в историю искусства полотен: от «Золотой осени» Остроухова до «Христа и грешницы» Поленова, от портретов кисти Репина, Крамского, Ярошен-

ко до «Героев Севастополя» Максимова и «Страдной поры» Мясоедова.

Репин напишет Стасову: «Какая у нас нынче выставка! Не бывало еще такого разнообразия и такой высоты исполнения. Не говорю уж о Сурикове! Увидите сами... «Стасов откликнется с значительно меньшим энтузиазмом. Он найдет, что в суриковской толпе слишком мало сильных характеров и что настоящий семнадцатый век выражен лишь в самой Морозовой, которой действительно равны, по его словам, только «Борис Годунов», «Хованщина» и «Князь Игорь».

Зато для молодежи картина стала настоящим откровением. Это время увлечения идеями народничества. Образы Веры Засулич, Софьи Перовской, Ипполита Мышкина, задумавшего в одиночку спасать Чернышевского из его сибирской ссылки, были у всех на памяти. И суриковский народ, суриковских героев вчерашние студенты уносили с собой и в ту глухомань, куда по собственной воле уезжали работать, и в сибирскую ссылку, через которую многие прошли.

В воспоминаниях Сурикова есть такой эпизод. «Ехал я по настоящей пустыне, доехал до реки, где, говорили, пароход ходит. Деревушка – несколько изб. Холодно, сыро. «Где, – спрашиваю, – переночевать да попить хоть чаю? «Ни у кого ничего нет. «Вот, – говорят, – учительница ссыльная живет, у нее, может, что найдете». Стучусь к ней. «Пустите, – говорю, – обогреться да хоть чайку попить.»

– А вы кто?

– Суриков, – говорю, – художник.

– Как всплеснет она руками:



– «Боярыня Морозова», – говорит. – «Казнь стрельцов»?

– Да говорю, казнил и стрельцов.

– Да как же это так вы здесь?

– Да так, – говорю, – тут как тут.

Бросилась это она топить печь, мед, хлеб поставила, а сама и говорить не может от волнения.

Понял я ее и тоже вначале молчал. А потом за чаем как разговорились! Спать не пришлось, проговорили мы до утра.

Утром подошел пароход. Сел я на него, а она, закутавшись в теплую шаль, провожала меня на пристани. Пароход отошел. Утро серое, холодное, сибирское. Отъехали далеко-далеко, а она, чуть видно, все стоит и стоит одна на пристани...»

Мир Сурикова – мир тех, чье понимание жизни он выражал в народе. Весь смысл жизни для Василия Ивановича составляла воля. Ни перед кем не заискивал. Ни от кого не хотел зависеть. «Воровскими людьми» называли документы предков художника за то, что участвовали в Красноярском бунте 17 века. Бунтовали, воевали они всю жизнь, в 1825 году вышли в офицеры. Это Суриковы. Другое дело – материнская родня. «Мать моя из Торгошинных была. А Торгошины были торговыми казаками – извоз держали, чай с китайской границы возили от Иркутска до Томска, но торговлей не занимались. Жили по ту сторону Енисея – перед тайгой. Старики неделеные жили. Семья была богатая... Дед еще сотником в Туруханске был. Дом наш соболями и рыбой строился. Тетка к деду ездила. Рассказывала потом про северное сияние. Солнце там, как медный шар. А как уезжала – дед мой ей полный подол соболей наклал».

Крепостного права в тех местах не знали. Жили строго, честно. В родной станице Сурикова – Бузимовской – все еще стояли дома из вековых бревен, а в окнах сохранялась слюда. В ночи на дворе можно было встретить медведя – сидит на столбе ограды, смотрит. Бились на кулачках. Когда отца не стало, мать брала с собой на погост детей. Причитала долго. Истово. По-старинному. А сыновьям хотела во что бы то ни стало образование дать. Со сверстниками своими Суриков разыгрывал бой при Фермопилах и воображал себя Леонидом Спартакским.

В записях поэта Максимилиана Волошина сохранились строки: «Смотришь, бывало, на Василия Ивановича и думаешь: «Вот сила, могучая, стихийная сила сибирская! Самородок из диких гор и тайги необъятного края!»

Самобытность, непреклонная воля и отвага чувствовались в его коренастой фигуре, крепко обрисованных чертах скуластого лица со вздернутым носом, крупными губами и черными, точно наклеенными, усами и бородой. Кудлатая черная голова, вихры которой он часто по-казацки взбивал рукой. Речь смелая, упорная, решительная, подкрепляемая иногда ударом кулака по столу.

Ему бы бросаться на купецкие ладьи с криком: «Сарынь на кичку» или скакать на диком сибирском коне по полям и лесным проселкам. Садко-купец или ушкуйник!»

Волошинский портрет очень точен. Решил Василий Суриков учиться в Академии художеств – добрался до Петербурга. Не понравилось, как учили, – нашел своего единственного, зато какого, педагога – Павла Петровича Чистякова. Послушался его совета переехать в Москву, начать с заказа для храма

Христа Спасителя, а там заниматься одной исторической живописью. Никаких выгодных живописных подрядов, никакой заботы о славе, никаких портретов, которые всегда приносили немалые деньги. И за картины свои назначал цену ровно такую, чтобы хватило на самую скромную жизнь на время работы над следующим полотном. Поленов получил за «Христа и грешницу» двадцать четыре тысячи рублей, Суриков за «Морозову» ограничился пятнадцатью.

«Строгая жизнь», – отзовется Репин о суриковских квартирах. Пара ломаных стульев с дырявыми соломенными сиденьями. Сундук. Скупко запачканная красками палитра. Холод. «Василий Иванович занимал две небольшие квартиры, расположенные рядом, – вспоминал художник А.Я. Головин, – и когда писал свою «Боярыню Морозову», он ставил огромное полотно на площадке и передвигал его то в одну дверь, то в другую, по мере хода работы». Чтобы видеть картину целиком, Суриков смотрел на нее сбоку, из просвета соседней темной комнаты. Ни одной мастерской за всю свою жизнь он не имел.

Впечатлениями для «Морозовой» дарили и Сибирь, и Москва. Юродивый – с московского базара, где торговал огурцами. Рыжий дьячок – сибирский знакомец, пьяненький Варсонофий, с которым доводилось ездить в город. Расписные дуги, лиловая дымка морозного зимнего дня – с московских улиц. Сама Морозова – здесь черты и тетки Авдотьи Васильевны, и начетчицы с Рогожского Анастасии Михайловны, а в чем-то и собственной жены Елизаветы Августовны Шаре, внучки декабриста Свистунова.

Способность забывать о себе, самоотверженность, убеж-

денность, душевная сила, стойкость – Суриков по крупицам собирает черты этого удивительного образа. А настоящая Федосья Морозова – какой была она в действительности?

На первый взгляд особых заслуг за немолодым Глебом Ивановичем Морозовым, взявшим за себя вторым браком семнадцатилетнюю красавицу Федосью Соковнину, не числилось, но боярином, как и оба его брата – Михаил и Борис, он был. С незапамятных времен владели Морозовы двором в самом Кремле, на взрубке, неподалеку от Благовещенского собора. Недалекий их предок Григорий Васильевич получил боярство в последние годы правления Грозного. До Смутного времени владел кремлевским двором Василий Петрович Морозов, человек прямой и честный, ставший под знамена Пожарского доверенным его помощником и соратником, не таивший своего голоса в Боярской думе, куда вошел при первом из Романовых. В Кремле же родились его внуки Глеб и Борис, которому доверил царь Михаил Федорович быть воспитателем будущего царя Алексея Михайловича.

Здесь уже нужна была не столько прямота, сколько талант царедворца: и нынешнему царю угодить, и будущего не обидеть. Воспитание венценосцев – дело непростое. Борис Иванович всем угодил, а чтобы окончательно укрепиться при царском дворе, женился вторым браком на родной сестре царицы Марьи Ильиничны – Анне Милославской. Так было вернее: сам оплошаешь, жена умолит, золовка-царица в обиду не даст, племянники – царевичи и царевны – горой встанут. Милославских при дворе множество, дружных, во всем согласных, на выручку скорых.

Да и брат Глеб не оплошал – жену взял с соседнего кремлевского двора князей Сицких, владевших этой землей еще во времена Грозного, когда был их прадед женат на родной сестре другой царицы – Анастасии Романовны. Правда, с опалой Романовых, которых обвинил царь Борис Годунов, будто решили они извести колдовскими корешками всю его царскую семью, с того самого страшного 1600 года многое изменилось. Все равно добились Романовы власти, а добившись, не забыли и пострадавшей за них родни. К тому же Сицкие продолжали родниться с Романовыми. Один из них – князь Иван Васильевич женился на сестре патриарха Филарета, родной тетке царя Михаила. Зато после смерти первой своей боярыни мог себе позволить Глеб Морозов, отсчитавший уже полсотни лет, заглядеться и просто на девичью красоту, посвататься за Федосью.

Теперь пришло время радоваться Соковниным. Хоть и не клали себе охулки на руку на царской службе, все равно далеко им было до приближенных Морозовых. Разве что довелось Прокофию Федоровичу дослужиться до чина сокольничьего, съездить в конце 1630 года посланником в Крым да побывать в должности Калужского наместника. Но замужество дочери стоило многих служб. И не только мужу по сердцу пришлось Федосья. Полюбилась она и всеильному Борису Ивановичу, и жене его, царицой сестре, да и самой царице Марье Ильиничне. С собой хороша, нравом строга, и наследника принесла в бездетную морозовскую семью – первенца Ивана. Может, к хозяйственным делам особой склонности и не имела, но со двора выезжать не слишком любила, и упрекнуть молодую боярыню старой родне было не в чем.

Любила ли своего Глеба Васильевича или привыкла к старику, ни о чем другом и помыслить не умела, тосковала ли или быстро притерпелась? Больше молчала, слова лишнего вымолвить не хотела. А ведь говорить умела, и как говорить! Когда пришлось спорить о своей правде, о том, во что поверила, во что душу вложила, проспорила с самим митрополитом целых восемь часов: «И бысть ей прения с ними от второго часа ночи до десятого». Может, и не убедила, не могла убедить, да ведь говорила-то к делу, доводы находила, возражала, переспорить ее не сумели.

Может, в упорстве своем похожа была Федосья на тех далеких баронов Иксюлей, которые, повздорив со шведским колом, предпочли уйти на службу к Ивану Грозному, крестились в православие, чтобы навсегда отречься от обидчика, и прикипели сердцем и верностью к новой земле, хоть бунтарского нрава и не уняли. Сын того первого, взбунтовавшегося, барона фон Иксюля – Василий, полковой голова в русских войсках, и дал фамилию своим потомкам по полученному им прозвищу – Соковня. Василий Соковня. Потомки обрусели, титулом пользоваться перестали – не было такого в обычае русского государства, но с гордостью фамильной не расстались, держались дружно, друг от друга не отступаясь. Вот и около Федосьи встала и сестра Евдокия, ставшая княгиней Урусовой, и братья Федор и Алексей. Не отреклись, царского гнева и опалы не испугались. Остался в их роду бунт против тех, кому принадлежала власть. Тот же брат Алексей был казнен в 1697 году Петром I за то, что вместе с Иваном Циклером решил положить конец его царствованию, а брат Федор, несмотря на получен-



ный боярский чин, оказался в далекой ссылке. Позже, во времена Анны Иоанновны, никто иной как Никита Федорович Соковнин поплатится за сочувствие Артемию Волынскому, за планы переустроить власть на свой – не царский образец.

Покорство – ему в соковнинском доме, видно, никто Федосью Прокопьевну толком не научил. Пока жила с мужем, воли себе не давала. Но в тридцать овдовела, осталась сам-друг с подростком-сыном, тогда-то и взяла волю, заговорила в голос о том, что и раньше на сердце лежало, – о правильной вере. И потянулись к Федосьиному двору в переулке на Тверской – на нынешней улице Грановского, сразу за театром Ермоловой, сторонники раскола, пошел по Москве слух о новоявленной праведнице и проповеднице. Может, не столько сама была тому причиной, сколько протопоп Аввакум, вернувшийся из сибирской ссылки и поселившийся в доме покойного боярина Глеба Морозова. «Бывало сию с нею и книгу чту, – вспомнит протопоп, – а она прядет и слушает». Вот только откуда пришло к ней сомнение в истинности привычной веры, убежденность в правоте, бунт против никонианских затей исправления иконописания, богослужбных книг, церковных служб?

Бунтовали крестьяне. Бунтовали горожане из тех, кто трудом изо дня в день добывал пропитание и хлеб. Бунтовали окраины. С утверждением никонианства исчезал последний призрачный свет свободы. Двоеперстие становилось правом на свою веру, благословляло душевный бунт против неправедных земных владык. Какое дело, чем разнились правленные и неправленные книги, – главным было неподчинение. В завязности споров скрывалось отчаяние сопротивления, с зарождения

своего обреченного на неудачу и гибель. Машина разрастающегося государства не знала пощады в слаженном скрипении своих бесконечных, хитроумно соединенных шестеренок и колес.

Но что было здесь делать боярыне, богатейшей, знатной, одной из первых при царском дворе и в Московском государстве? Какие кривые завели ее на эти дороги? Ослепленность верой? Но никогда при жизни мужа особой религиозностью Федосья не отличалась. Жила как все, поступала как иные. Или сказало и здесь свое слово время – желание понять себя и обо всем поразмыслить самому? Человек 17 века искал путей к самому себе, и разве всегда эти пути были очевидными и прямыми?

И еще – сознание собственной значимости, Аввакум скажет – гордыни: «Блюдия самовозношения тово, инока-схимница. Дорога ты, что в черницы те попала, грязь худая. А кто ты? Не Федосья ли девица преподобно-мученица. Еще не дошла до тое версты». И сам же испугается своей правды – как-никак боярыня, как-никак не простой человек: «Ну, полно браниться. Прости, согрешил».

А воля словно сама шла в руки, прельщала легкостью и неотвратимостью. В 1661 году не стало боярина Бориса Ивановича Морозова, главного в семье, перед которым и глаз не смела поднять, хоть и любил и баловал невестку. Годом позже разом не стало мужа и отца – в одночасье ушел из жизни боярин и калужский наместник. Еще через полтора года могла уже распорядиться принять ссыльного протопопа, объявить себя его духовной дочерью.

Царский двор глаз со вдовой боярыни не спускал и вмешивался сначала стороной: не успел Аввакум проделать путь из

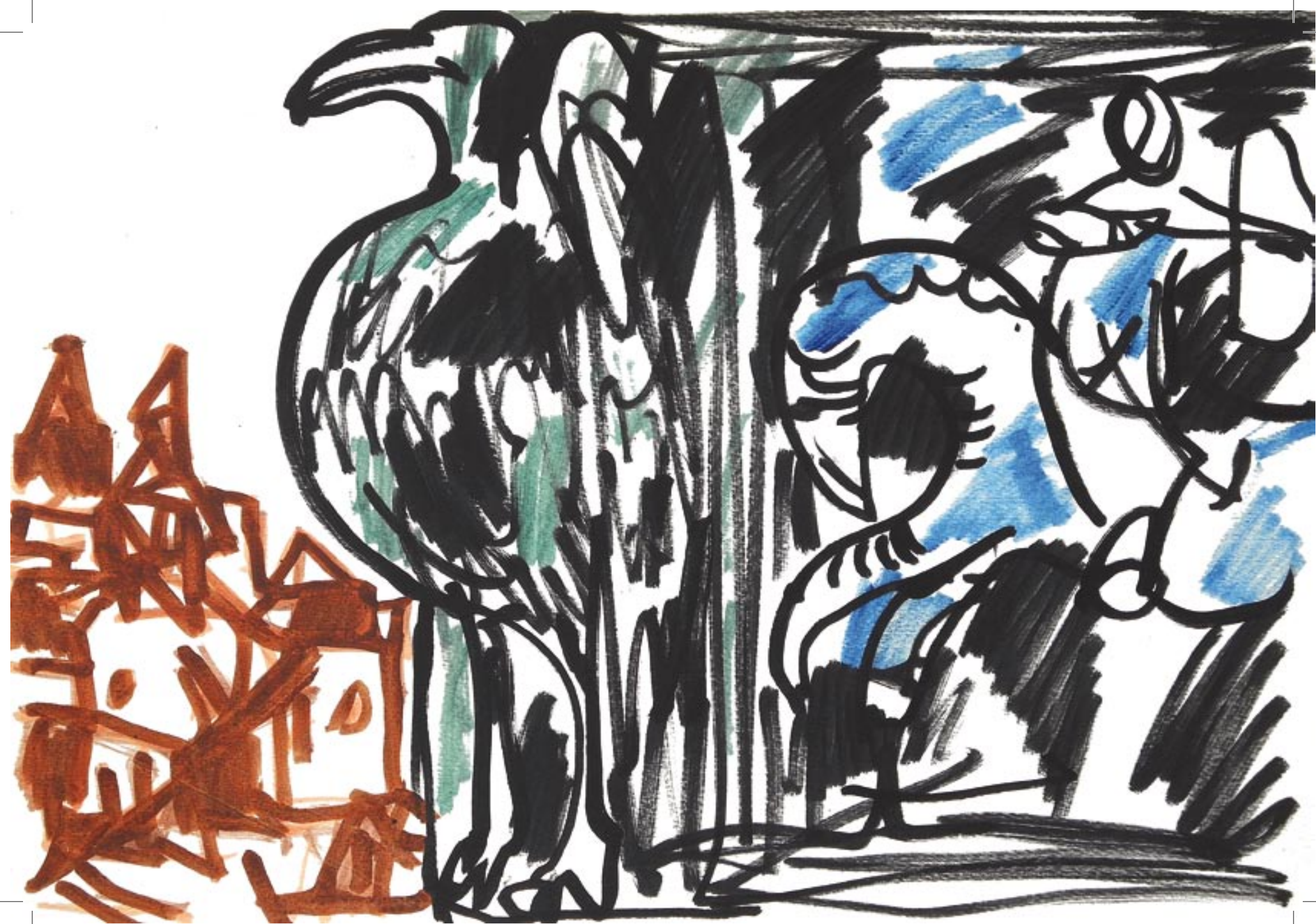
Сибири до столицы, как к концу лета 1664 года был снова послан в Мезень. Ни покровительство, ни заступничество Федосьи не помогли. Надо бы боярыне испугаться, притихнуть, а она, наученная неистовым протопопом, пришла в ярость, начала сама проповедовать, не скрываясь, смутила сестру, забрала в руки сына. Теперь уже к ней самой приступили с увещанием, постарались приунять, утихомирить. И увещателей нашли достойных ее сана, ее гордыни.

Разговор с Федосеей Прокопьевной повели архимандрит Чудова монастыря в Кремле Иоаким и Петр Ключарь. Кто знает, как долго говорили с отступницей, только, видно, ничего добиться не смогли. За упорство к концу 1664 года отписали у боярыни половину богатейших ее имений, но выдержать характер царю не удалось. Среди милостей, которыми была осыпана царица Мария Ильинична по поводу рождения младшего сына Иоанна Алексеевича, попросила она сама еще об одной – помиловании Федосьи. Алексей Михайлович не захотел отказать жене. Иоанн Алексеевич родился в августе, первого октября 1666 года были выправлены бумаги на возврат Федосее Прокопьевне всех морозовских владений.

И снова поостеречься бы ей, не перетягивать струны, уйти с царских глаз. Но то, что очевидно для многих царедворцев, непонятно Федосее. Для нее нечаянная, вымоленная царицей милость – победа, и она хочет ее испытать до конца. Все в ее жизни возвращается к старому: странники на дворе, беглые попы, нераскаявшиеся раскольники. Федосья торжествует, не замечая, как меняются обстоятельства и время. Уходят из жизни ее покровители, теперь уже последние: в сентябре 1667 года

невестка царицына сестра Анна Ильинична Морозова, в первых днях марта 1669 года – вместе со своей новорожденной дочерью сама царица. И странно: благочестивейшая, богобоязненная, в мыслях своих не согрешившая против власти церкви, против разгула никонианской грозы, царица Мария Ильинична не видела греха в «заблуждениях» Федосьи Морозовой. Разве и сам царь Алексей Михайлович не знакомился с Аввакумом, не привечал его и на первых порах не прочь был обойтись с неистовым протопопом, как с Федором Ртищевым, лишь бы не посягал на каноны слитой с государством церкви.

А ведь Федор Ртищев воинствовал со всей церковью и ее князьями, желал жить по воле разума своего и совести, а не по предписаниям церковным. Раздавал имение нуждающимся: царил на Руси жестокий голод – продал дорогую свою рухлядь и драгоценные фамильные сосуды, чтобы дать хлеб голодающей Вологде. Основал в двух верстах от Москвы монастырек со школой, где начал учить всех, у кого были способности и охота. Пригрел в своей школе знаменитого Епифания Славинецкого, уговорил ученого заняться переводами с греческого, да кстати составить и греко-русский словарь. Хулил православные обряды за то, что театральным действием прикрывают суть веры, когда надо быть просто в жизни честным человеком. Крестьян своих отваживал от богослужений: главное – жить по совести, а без обрядов и икон можно обойтись. Спорил с самим Никоном, что зря вмешивается в мирские дела, хочет управлять государством. Это ли не вольность суждений, которая не одного могла увлечь на опасный путь! А вот когда по наветам церковников пытались Федора Ртищева убить, спасение нашел он в личных



покоях царя. Алексей Михайлович дал ему должность придворную – поставил главным над любимой своей соколиной охотой, уговорил написать, как такую охоту вести, а дальше и вовсе поручил учить наукам сына – царевича Алексея Алексеевича, объявленного наследника престола. Сколько людей при дворе мечтало о такой неслыханной чести! Но с Аввакумом иначе.

Отбыв все испытания сибирской ссылки, Аввакум напишет о возвращении в Москву в своем «Житии»: «Также к Москве приехал и, яко ангела Божия, прияша мя государь и бояря, – все мне ради. К Федору Ртищеву зашел: он сам из полатки выскочил ко мне: благословился от меня, и учили говорить много-много, – три дни и три ночи домой меня не отпустил и потом царю обо мне известил. Государь меня тотчас к руке поставить велел и слова милостивые говорил: «здорово ли-де, протопоп, живешь, еще-де видатца бог велел». И я соротив руку ево поцеловал и пожал, а сам говорю: «жив господь, и жива душа моя, царь-государь; а впредь что изволит бог». Он же, миленький, вздохнул, да и пошел, куда надобе ему... Давали мне место, где бы я захотел, и в духовники звали, чтоб я с ними соединился в вере; я же все сие яко уметы (грязь) вменил...»

Мог Аввакум, и приукрасить, мог – и хотел – покрасоваться, но правда в его рассказах была. Отказ ему стоил ссылки на Мезень. Час Федосьи Морозовой наступил позже. И не стал ли главной ее виной гордый отказ прийти на свадьбу царя с новой женой Натальей Нарышкиной?

Для Федосьи два года не срок, чтобы забыть царю о покойной царице Марье Ильиничне. Против нового брака восстали все. И царские дети – родила их Марья Ильинична три-

надцать человек, и заполонившие дворец Милославские – появление новой царицы означало появление новых родственников, новую раздачу мест и выгод. И даже церковники – каких милостей было ждать от питомицы Артамона Матвеева. «Учинили дуростию своею не гораздо», – скажет Алексей Михайлович в указе о дьяках, осмелившихся не пустить на свои дворы царских певчих с непривычным для Руси – демественным пением. За «дурость» следовало наказание. К тому же дьяков оказалось много, а среди противников женитьбы Алексея Михайловича решилась пренебречь царской волей одна Федосья Прокопьевна. Когда царский посланец приходит приглашать боярыню Морозову на царскую свадьбу, Федосья решается на неслыханный поступок – отказывается от приглашения и плюет на сапог гонца. Чаша терпения Алексея Михайловича переполнилась. Расчеты государственные перехлестнулись с делами личными. В ночь на 16 ноября того же 1671 года строптивая боярыня навсегда простилась со свободой.

После прихода к ней чудовского архимандрита Иоакима Федосью Морозову вместе с находившейся у нее в гостях сестрой княгиней Евдокией Урусовой решают заключить в подклете морозовского дома. Федосья отказывается подчиниться приказу. Никто не властен над хозяйкой, и слугам приходится снести боярыню в назначенное место на креслах. Это и будет ее первая тюрьма.

Но даже сделав первый шаг, Алексей Михайлович не сразу решается на следующий. Может, и не знает, каким этому шагу быть. Два дня колебаний, и митрополит Павел получает приказ допросить упрямую раскольницу. Допрос должен вес-

тись в Чудовом монастыре. Но Федосья снова отказывается сделать по своей воле хотя бы шаг. Если она понадобилась тем, в чьих руках сила, пусть насильно несут ее куда хотят. И вот от морозовского двора по Тверской направляется в Кремль невиданная процессия: Федосью несут на сукне, рядом идет сестра Евдокия. Только в тот единственный раз были они в дороге вместе. Так же на сукнах отнесут Федосью домой после десяти часов прений. Митрополиту Павлу так и не удастся переубедить строптивницу.

А ведь, казалось, все еще могло прийти к благополучному концу. Митрополит Павел не собирался выказывать свою власть, и в мыслях не имел раздражать Соковниных и Милославских. Царева воля значила много, но куда было уйти от именитого родового боярства. Цари менялись – боярские роды продолжались, и неизвестно, от кого в большей степени зависели князья церкви. Но оценить осторожной снисходительности своего следователя Федосья Морозова не захотела. Донесения патриарху утверждали, что держалась боярыня гордо, отвечала дерзко, каждому слову увещания противоречила, во всем вместе с сестрой «чинила супротивство». Допрос одинаково обозлил обе стороны. Полумертвую от усталости, слуги отнесли боярыню в подклет собственного дома, под замок, но уже только на одну последнюю ночь.

Алексею Михайловичу не нужно отдавать особых распоряжений, достаточно предоставить свободу действий патриарху. Иоасаф II сменил Никона, ни в чем не поступившись никоианскими убеждениями. Это при нем и его усилиями произошел окончательный раскол. Те же исправленные книги

для богослужений. Те же строгости в отношении пренебрегавших этими книгами священников. Попы, следовавшие доникоианскому порядку служб, немедленно и окончательно лишались мест. Все неповинующиеся церкви предавались анафеме. И хотя Иоасаф вернулся к форме живой проповеди в церкви, хотя неплохо писал сам и охотно печатал чужие разъясняющие нововведения труды, переубедить Морозову не собирался никто.

Наутро после допроса в Чудовом монастыре Федосье вместе с сестрой еще в подклете родного дома наденут цепи на горло и руки, кинут обеих на дровни, да так и повезут скованными и рядом лежащими по Москве. В.И. Суриков ошибался. Путь саней с узницами действительно лежал мимо Чудова монастыря. Морозова и впрямь надеялась, что на переходах дворца мог стоять и смотреть на нее царь. Но ни сидеть в дровнях, ни тем более вскинуть руку с двуперстием не могла: малейшее движение руки сковывало застывшим на морозе железным ошейником горло.

Неточны историки и в другом обстоятельстве. Известные вплоть до настоящего времени документы утверждали, будто путь дровней с узницами лежал в некий Печерский монастырь. На самом деле речь шла не о монастыре, а о его подворье, которое было приобретено в 1671 году у Печерского монастыря для размещения на нем Приказа тайных дел. Подворье было предназначено для пребывания Федосьи. Евдокию в других дровнях отправили к Пречистенским воротам, в Алексеевский монастырь. Княгиня Урусова ни в чем не уступала сестре. Ее велели водить на каждую церковную монастырскую службу, но

княгиня Авдотья не шла, и черницам приходилось таскать ее на себе, силой заталкивая в особые носилки.

Для одних это была «крепость», для других «лютость», но для всех одинаково – поединок с царской волей. Утвержденный на Московском соборе в мае 1668 года раскол был делом слишком недавним, для большинства и вовсе непонятым. Но москвичи были на стороне бунтовщиц, тем более женщин, тем более матерей, оторванных от домов и детей. Скорая смерть Иосафа II – через несколько месяцев после ареста Морозовой, – а за ним и его наследника Питирима – в апреле 1673 года – воспринимались знамением свыше. «Питирима же патриарха вскоре постиже суд божий», – утверждал современник.

А ведь новоположенный патриарх Питирим никак не хотел открытых жестокостей. Ему незачем начинать свое правление с суда над знатными и уже прославившимися в Москве непокорными дочерьми церкви. Он готов увещевать, уговаривать, ограничиться наконец простой видимостью раскаяния. Старый священник, он знает – насилие на Руси всегда рождает сочувствие к жертве и ненависть к палачу. Москва только что пережила Медный бунт, и надо ли вспоминать те страшные для обитателей дворца дни! Но царь упорствует. Называвшийся Тишайшим, Алексей Михайлович не хочет и слышать о снисхождении и дипломатических компромиссах. Строптивая боярыня должна всенародно покаяться и повиниться, должна унизиться перед ним.

Да и настоятельница Алексеевского монастыря слезно молит избавить ее от узницы. Не потому, что монастыри не привыкли выполнять роль самых глухих и жестоких тюрем –

так было всегда в Средние века, – не потому, что Урусова первая заключенная в этой обители. Настоятельница заботится о прихожанах – к Урусовой стекаются толпы для поклонения. Здесь всегда окажешься виноватой и перед властями, и перед москвичами. О доброй славе монастыря приходится радеть день и ночь, и Питирим хочет положить конец чреватому осложнениями делу: почему бы царю не выпустить обеих узниц? Бесполезно!

...Сначала были муки душевные. Сын! Прежде всего сын. Не маленький – двадцатидвухлетний, но из воли матери не выходивший, во всем Федосье покорный, из-за нее и ее веры не помышлявший ни о женитьбе, ни о службе. И мать права – ему не пережить ее заключения. Напрасно Аввакум уверял: «Не кручинься о Иване, так и бранить не стану». Может, и духовный отец, а все равно посторонний человек. Ведь недаром же сам вспоминал:

«...И тебе уж некого четками стегать и не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки некого погладить, – помнишь, как бывало».

Помнила. Еще бы не помнила! Душой изболелась, печалуюсь о доме, пока чужой, никонианский поп не принес страшную весть, что не стало Ивана, что никогда его больше не увидит и даже в последний путь не сможет проводить. От попа пришла и другая весть – о ссылке обоих братьев, что не захотели от них с Евдокией отречься. Новые слезы, новые опустевшие в Москве дома. Знала, что сама всему виною, но теперь-то и вовсе окаменела в своем упорстве, выбрала муки и смерть, и они не заставили себя ждать.

Алексей Михайлович не сомневался в «лютости» Федосьи. Так пусть и новый патриарх убедится в ней. Боярыню скованную снова привезут в Чудов монастырь, чтобы Питирим помазал ее миром. Но даже в железах Федосья будет сопротивляться, осыпать иерарха проклятиями, вырываться из рук монахов. Ее повалят, проташут за ошейник по палате, вниз по лестнице, и вернут на бывшее Печерское подворье. Со следующей ночи на ямском дворе приступят к пыткам. Раздетых до пояса сестер станут поднимать на дыбу и бросать об землю. Федосье достанется провисеть на дыбе целых полчаса. И ни одна из сестер Соковниных не отречется, даже на словах не согласится изменить своей вере. Теперь настанет время отступать царю. Алексей Михайлович согласен – пусть Федосья на людях, при стечении народа перекрестится, как требует церковь, троеперстием, пусть просто поднимет сложенные для крестного знамения три пальца. Если даже и не свобода, если не возврат к собственному дому – да и какой в нем смысл без сына! – хотя бы конец боли, страшного в своей неотвратимости ожидания новых страданий. В конце концов она только женщина, и ей уже под сорок лет.

И снова отказ «застывшей в гордыне» Федосьи, снова взрыв ненависти к царю, ставшему ее палачом. Теперь на помощь Морозовой пытается прийти старая и любимая тетка царя – царевна Ирина Михайловна. Да, она до конца почитала Никона, да, ее сестра царевна Татьяна Михайловна с благословения Никона училась живописи и написала лучший иконовский портрет, но примириться с мучениями Федосьи тетка не могла. Ирина Михайловна просит племянника отпустить Морозовой

ее вину, прекратить пытки, успокоить московскую молву. Алексей Михайлович неумолим. «Свет мой, еще ли ты дышишь? – напишет в те страшные месяцы Аввакум. – Друг мой сердечной, еще ли дышишь, или сожгли, или удавили тебя? Не вем и не слышу; не ведаю – жива, не ведаю – скончали. Чадо церковное, чадо мое драгое, Федосья Прокопьевна. Провещай мне, старцу грешну, един глагол: жива ли ты?»

Это было чудом – она еще жила. Жила и когда ее перевезли в Новодевичий монастырь, оставив без лекарственных снабдий и помощи. Жила и когда ее переправили от бесконечных паломников на двор старосты в Хамовниках. Жила и когда распоряжением вконец рассвирепевшего царя была отправлена в заточение в Боровск, где поначалу, к великому их счастью, сестры окажутся вместе.

«Ты уже мертвец, отреклася всего, – скажет Аввакум, – а они еще горемыки (Евдокия Урусова и их единомышленница Данилова – Авт.) имут сердца своя к супружеству и ко птенцам. Можно нам знать, яко скорбь их томит. Я и мужик, а всяко живет. У меня в дому девка-рабичища робенка родила. Иные говорят: Прокопей, сын мой, привалял, а Прокопей божится и запирается. Ну, что говорить, в летах, не дивно и ему привалять. Да сие мне скорбно, яко покаяния не могу получить». Семейные дела, домашние заботы – как же бесконечно далека уже от них Федосья Морозова.

Когда-то, за пять столетий до нашей эры, Геродот, описывавший северную часть Европы, коснулся и Калужских земель, коснулся неопределенно, мимоходом, потому что никаких подлинных сведений о тех местах не имел. Толкователи историка ус-

матривали из его слов, что от верховьев Днестра через Волынь, Белоруссию, Калугу и до самой Владимирщины простиралась пустыня. Она получила название Птерофории, Перьевой земли. Причиной названия стал снег, будто бы всегда паривший здесь в воздухе и состоявший из мелких перьев или пуха. Из этих удивительных мест и был родом Борей – северный ветер.

Вряд ли боярыня Морозова слышала о Геродоте, но его легенда обернулась для нее единственной правдой. Стылые волглые стены тюрьмы-сруба. Едва тронутое светом зарешеченное окошко. Знойкий холод, которого не могло осилить ни одно лето. Голод – горстка сухарей и кружка воды на день. И тоска. Звериная, отчаянная тоска. Царь, казалось, забыл о ненавистной узнице. Казалось...

Но Боровск трудно, попросту невозможно забыть. Боровск – не Мезень и не Пустозерск, где кончит свои дни Аввакум. Восемьдесят верст от столицы – не дальний край, хоть и доводилось городу быть пограничным, стоять на стыке Московского государства с Литвой. И дело не в том, что владел им когда-то Дмитрий Донской и передал своему двоюродному брату, герою того же Куликова поля, Владимиру Андреевичу Храбром. И не в том, что от Владимировичей город перешел к Глинским, родным матери Ивана Грозного, что Грозный хотел передать Боровск старшему, собственной рукой убитому сыну, а при Борисе Годунове отошел он на содержание сыну шведского короля Густаву Ириковичу, не состоявшемуся супругу Ксеньи Годуновой.

Все это уже было историей, никак не тревожившей Романовых. Зато именно боровских наместников выбирал Алексей

Михайлович для самых важных посольских дел. В 1659 году уехал отсюда Василий Лихачев послом во Флоренцию, а в 1667 году другой наместник – Петр Иванович Потемкин отправился послом сначала в Испанию, а потом во Францию. Город все время оставался на виду, и не потому ли выбрал его Алексей Михайлович для постоянно тревожившей его бунтовщицы.

После двух будто забытых лет в апреле 1675 года в Боровск приезжает для розыска по делу Морозовой стольник Елизаров со свитой подьячих. Он должен сам провести в тюрьме «обыск» – допрос, сам убедиться в настроениях узницы и решить, что следует дальше предпринимать. Стольнику остается угадать царские высказанные, а того лучше – невысказанные желания. Откуда боярыне знать, что чем бы ни обернулся розыск, он все равно приведет к стремительному приближению конца.

Сменивший стольника в июне того же года дьяк Федор Кузьмищев придет с чрезвычайными полномочиями: «указано ему тюремных сидельцов по их делам, которые довелось вершать, в больших делах казнить, четвертовать и вешать, а иных указано в иных делах к Москве присылать, и иных велено, которые сидят не в больших делах, бивши кнутом выпускать на чистые поруки на козле и в проволтку...»

Дьяк свое дело знал. Его решением будет сожжена в срубе стоявшая за раскол инокиня Иустина, с которой сначала довелось делить боровское заточение Морозовой. Для самой же Морозовой и Урусовой Федор Кузьмищев найдет другую меру: их опустят в глубокую яму – земляную тюрьму. И то сказать, зажились сестры. Теперь они узнают еще большую темноту, ле-



денящий могильный холод и голод. Настоящий. Как приговор. Решением дьяка им больше не должны давать еды. Густой спертый воздух, вши – все было лишь прибавкой к мукам голода и отчаяния.

Решение дьяка... Но, несмотря на все запреты, ночами сердобольные боровчане пробираются с едой к яме. Не приходят со стороны, не выдерживает сердце у самих стражников. Вот только кроме черных сухариков ничего не решаются спустить. Не дай бог проговорятся узницы, не дай бог стоном выдадут тайну.

Евдокия дотянет лишь до первых осенних холодов. Два с половиной месяца проживет еще ее сестра: Федосья не станет 2 ноября 1675 года. И перед смертью что-то сломится в ней, что-то не выдержит муки. Она попросит у стражника: «Помилуй мя, даждь ми колачика, поне хлебца. Поне мало сухариков. Поне яблочко или огурчик». И на все получит отказ: не могу, не смею, боюсь. В одном стражник не сможет отказать Федосье – вымыть на реке единственную ее рубаху, чтобы помереть и лечь в гроб чистой. Шла зима, и в воздухе висел белый пух. Спуститься в земляной мешок было неудобно, и стражники вытащили окоченевшее тело Федосьи на веревочной петле.

Участники разыгравшейся драмы начинают уходить один за другим. Ровно через три месяца после Федосьи не стало царя Алексея Михайловича. В Пустозерске был сожжен в срубе протопоп Аввакум. В августе 1681 года, также в ссылке, скончался Никон. А в 1682 году к власти пришла от имени младших своих братьев царевна Софья. Она меньше всего собиралась поддерживать старообрядцев, боролась с ними железной рукой.

Но братьев Соковниных вернула из ссылки, разрешила им перезахоронить Федосью и Евдокию и поставить над их могилой плиту. Место это на городском валу получило название Городища и стало местом полонничества. И.Е. Забелин воспроизвел его, но в сегодняшнем Боровске уже нет памятной плиты, и можно лишь приблизительно определить ее положение, где поднимается современный многоквартирный дом.

А великолепное произведение Сурикова – если и были допущены художником исторические неточности, в нем безошибочно уловлен смысл, каким был наполнен для народа протест Федосьи Морозовой, тот отклик на ее бунт, который увлекал толпу. И невольно приходят на память строки Пушкина: «Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая – судьба народная».



ЖЕМЧУЖИНА ЗАРЕЧЬЯ

С «новым» (в смысле живописи) русским искусством пришлось столкнуться только в 1943/44 учебном году. Раздел XVIII века читала профессор Наталья Николаевна Коваленская. Сжато. Без эмоций. С постоянным обращением к собственному учебнику, вышедшему в самый канун Великой Отечественной. Наталья Николаевна не представляла исключения. Когда была возвращена из эвакуации коллекция Третьяковской галереи, именно заочное отделение получило исключительное право слушать весь курс в залах Третьяковки, после закрытия ее для посетителей. Группа была небольшой. Каждый имел стул, и с собственными сидениями мы передвигались от одной картины к другой, из зала в зал. Впечатление было громадным: слушать о том же Д.Г. Левицком, буквально уткнувшись носом в холст, имея возможность рассмотреть все особенности письма Александра Иванова или Николая Ге.

Но не меньшее впечатление производило то, что преподаватели вели занятия, стоя спинами к картинам. Собственно живопись, все ее колдовство, перемены времени их не интересовали. Они не стремились учить чему-либо подобному студентов. Обычная отмашка Натальи Николаевны: «что заинтересует, рассмотрите сами». Восполнять этот пробел приходилось у реставраторов. Реставрационными мастерски-

ми Третьяковской галереи руководил превосходный знаток техники живописи, автор уникальных трудов о ней профессор Алексей Александрович Рыбников. Ответ на каждый вопрос превращался у него в увлекательную лекцию, с постоянными отсылками ко всем европейским школам и нашим мастерам.

Я часто забегала к Наталье Николаевне – она жила в Большом Афанасьевском переулке, рядом с профессором Прокофьевым. Сумрачная комната в крестах темной ткани на окнах.

Закутанная от пыли непонятная мебель. Прокопченная до черноты маленькая буржуйка с трубой, выведенной в голландскую печку. На маленьком столике разные чашки. Чайничек. Сахарница с крышечкой. Крошечные витые серебряные ложки.

И самый большой секрет Натальи Николаевны – бисер и приспособления для шитья им. Глядя на кошелечки, которые она набирала, становилась понятной идущая от тургеневских времен прическа – уложенные на ушах две косы, ровный пробор, не знавшее косметики лицо как-то очень достойно старшей женщины. Всегда в темном, почти до полу, платье. Всегда с круглым белым воротничком, и непременной костяной брошкой – белый цветок розы на черном фоне.

Кажется втайне ото всех, особенно сослуживцев по университету, профессор любила поэзию Серебряного века, и мне удалось пополнить ее библиотеку некоторыми вторыми экземплярами, имевшимися в нашей семейной библиотеке. Потаенным уголком жизни Натальи Николаевны были дружеские отношения с выдающимся переводчиком восточной поэзии

Руммером. Злые языки утверждали, что многие годы поэт проводил в ее комнатке четверги, читал сделанные переводы, советовался о начатом. Один рукописный листок Наталья Николаевна подарила мне.

Разговор об искусстве не заходил никогда, зато Наталья Николаевна много и увлеченно говорила о маленьких поэтах Серебряного века, как например, о жившей в Сергиевом посаде поэтессе Анастасии Шафрановой и ее изданном там же сборнике «За высокой стеной». «Непременно побывайте в их сиреневом саду». – «Но ведь война...» – «Она же когда-нибудь кончится. А сквозь сирень вся лавра видна, словно парит в воздухе. Ярком. Прозрачном».. Изобразительное искусство было трудно назвать профессией Коваленской. Она представляла удивительное смешение далеких тургеневских посылов и представленных Чеховым эмансипированных барышень феминисток.

Между тем в партийных вопросах профессор была куда какой соратницей Г.А. Недошивина и Н.Д. Колпинского. В деканате шли слухи, что именно их совместными усилиями отделение было очищено от «беспартийного» Алпатова, приглашен из Текстильного института бывший помощник А.В. Луначарского А.А. Федоров-Давыдов, ради которого сама Наталья Николаевна неожиданно была снята с лекций и ограничена одними семинарами. Русское искусство XIX века начал читать Алексей Александрович Федоров-Давыдов.

Остроумный, злой на язык, много распространявшийся на тему сюжетов и никогда не обращавшийся к анализу собственно живописи. Бравадой в его стиле было сказать о «Не-

равном браке» В. Пукирева, что нынешние девушки не стали бы плакать из-за такой выгодной партии и легко освоили бы принцип любовного треугольника с отчаявшимся женихом. Дело не в том, что скромный, но крепкий художник заслуживал уважения, но пропадала и очень яркая черта человеческой нравственной жизни тех лет. Такой же иронией были наполнены сочные рассказы о привязанности Архипа Куинджи к птицам, тогда как о своеобразии его метода живописи не говорилось ни слова. Н.Н. Ге ограничивался рамками портрета Петрункевич и «Что есть истина?», «Голгофа» обходилась молчанием.

Семинарские темы у Коваленской были наредкость пестрыми и непонятно по какому принципу составленными. Здесь были газеты петровского времени, и надгробные памятники XVIII века и едва ли не единственная архитектурная тема – атрибуция церкви Климента на Пятницкой.

Проведя напротив загадочной церкви все детство – загадочной, потому что попасть внутрь нее мне не довелось – как хотелось в нее заглянуть. Одновременно с уничтожением Храма Христа Спасителя, церковь была закрыта и буквально разгромлена. Вozами из нее вывозили документы архива, утварь, кое-как выбрасывавшиеся на вozы иконы. Старые надгробия у алтарной стены были тоже вывезены, и вместо них вырыт подземный сортир с огромными фонарями у входа, застывшими вид на храм. Была вывезена и великолепная кованая ограда. Ободранный храм стал служить хранилищем так называемых «седьмых экземпляров» книг Ленинской библиотеки. Местным жителям оставалось наблюдать, как навалом привози-

лись к дверям трапезной машины книг и так же навалом вывозились, как выяснилось со временем, неизвестно куда.

Наталья Николаевна не возражала, что Климентовская церковь стала темой моей курсовой, а затем и дипломной работы – первое соприкосновение с архивными материалами под руководством Игоря Грабаря и научного сотрудника Академии архитектуры Анны Александровны Кипарисовой. Круг используемых материалов оказался действительно необъятным. Но когда дипломная была завершена и отдана на заключение заву кафедрой, Федоров-Давыдов поставил свое имя в качестве ее руководителя вместо профессора Коваленской. Наталья Николаевна только пожала плечами: к весне 1947 года все отделение целиком находилось во власти Федорова-Давыдова.

К тому жюри Всероссийского конкурса научных студенческих работ, куда входили профессоры Благой, Западов, ряд ведущих историков присудил диплому первую премию и рекомендацию в аспирантуру. Тем самым искусствоведческое отделение вместе с первым своим выпуском обрело и институт аспирантуры. Два открывшихся места заняли по русскому искусству – Н. Молева, по западноевропейскому Ю. Золотов (по решению партбюро). Его темой было назначено французское искусство. Для меня «Климент» стал темой на всю жизнь. Он лег в основу ряда научных исследований, романов «Ошибка канцлера», «Великий канцлер Бестужев-Рюмин», «Ее называли княжна Тараканова».

Царь

А ты, мой сын, чем занят? Это что?

Феодор

Чертеж земли московской; наше царство

Из края в край. Вот видишь: тут Москва.

А.С. Пушкин. «Борис Годунов».

Урочище называлось Ордынцами, и стояла на нем небольшая крепостца-острожек. Отсюда, с окраины Замоскворечья, и начали свой путь к занятому врагами Кремлю ополченцы Д.М. Пожарского. Первый бой с засевшими в острожке поляками – первая победа, возвестившая о том, что подошло к концу Смутное время. Так утверждали летописцы. Место сражения определялось стоявшей обок церковью – Климентовской – и было выбрано не случайно.

Соседство двух замоскворецких улиц – в прошлом двух дорог. По Большой Ордынке лежал путь в Золотую Орду, позже в Крым, и ездили по нему тут же и селившиеся ордынцы те, кто с поручением великого московского князя посылался к сильным людям с грамотами, иной раз с дарами или данью. Пятницкая появилась, вероятнее всего, в конце XIV – начале XV века, когда торговля перестала уместаться в восточной части Кремля, вышла за его стены, а там, со строительством прорезавшего Красную площадь оборонного канала, который соединил воды Москвы-реки и Неглинной, сильно потеснилась на восток, в Большой посад – Китай-город. Тогда же был отодвинут на

восток и деревянный мост через главную реку – Москворецкий, от вылета Большой Ордынки к вылету Пятницкой, начинавшейся от него и кончавшейся у Климента. Дальше тянулись поля – «всполье», по которым и продолжила новую улицу дорога на Рязань. Еще в XV веке вся земля эта называлась Заречьем, сменившимся со временем Замоскворечьем. Потому что появились в городе и Занеглименье, и Заязуье.

На первой по времени карте Москвы, о которой идет речь в пушкинской трагедии и которая получила название «Годунова чертежа», на Пятницкой улице обозначены три церкви. И хотя названия их не определены, расположение достаточно точно соответствует поныне существующим церквям: Черниговских чудотворцев Федора и Михаила в Черниговском переулке, Троицы в Вишнякове и Климента. Замученные в Орде черниговский князь Михаил и его боярин Федор оставались живой памятью вековой неволи. Церковь Троицы стояла в стрелецкой слободе приказа Матвея Вишнякова – отсюда идет сохраняющееся до наших дней название Вишняковского переулка. Климентовская церковь была посадской. Кругом селились торговые люди, тянулись харчевни и лавки. На луг пригоняли татары для продажи табуны коней, и торгу помогали специальные переводчики, жившие по соседству с Климентом – в Толмачах.

Правильность данных автора «Годунова чертежа», составленного до 1605 года и изданного четырнадцатью годами позже в Амстердаме, в географическом атласе Герарда Меркатора, автора известной картографической проекции, подтверждает следующий по времени «Петров чертеж». В 1650-х годах

его автор корректирует своего предшественника на натуре и издает свой труд во втором томе «Географии» Блавиана в том же Амстердаме в 1663 году. Климентовская церковь помечена на том же месте. Факт ее существования подтверждается и многочисленными документами.

Здесь любопытно отметить само по себе ее посвящение Клименту, папе Римскому. Климентовские церкви – не редкость в Новгороде Великом и Пскове, где к его покровительству особенно охотно прибегали жители «концов» – улиц, вкладчину возводившие свои храмы и для молитвы, и для сбережения всеми скопом своих непросто нажитых богатств. В Москве посвящение Клименту встречалось редко, и то кончая первой третью XVII века. В 1621 – 1625 годах были построены Климентовская церковь за Петровскими воротами, у стрельцов приказа Михаила Рчинова, в 1628 – 1639 годах еще две: на Трубе у Яру в Стрелецкой слободе и в «Михайлове приказе у Баскакова». Почти во всех случаях это были стрельецкие церкви.

Среди приходных и расходных книг Патриаршего Казенного приказа ружная книга 7133 – 7144 года содержит записи о постоянном взносе причтом Климентовской церкви оклада, что дает основание считать – крупнейшие московские пожары 1626 и 1629 годов ее не коснулись, и она сохранялась в неизменном виде до сороковых годов XVII столетия. Именно на это время приходится важный поворот в ее истории. Если раньше оклад вносился за церковь Климента, то теперь один и тот же причт вносит деньги то за Климентовскую, то за Знаменскую церкви. В некоторых случаях название совмещается, хотя не-

трудно проверить, что нового знаменского придела в старом храме не появилось.

В пятидесятых годах очередной климентовский поп Варфоломей Леонтьев хлопочет о «патрахельной» грамоте, разрешавшей совершать богослужение вдовым священникам. Брак в жизни попа значил многое. Без жены его не полагали в священнический сан, со смертью жены церковные власти начинали сомневаться в его нравственности. «Патрахельные» грамоты на основании свидетельства прихожан о добропорядочном поведении пастыря полагалось выправлять раз в год, а то и в полгода. Правда, Варфоломей Леонтьев отправляется на «службу с государем» – уходит в Ливонский поход Алексея Михайловича, закончившийся после осады Риги перемирием 24 октября 1656 года. Но никакие «служебные» заслуги не избавляют отца Варфоломея от необходимости по возвращении в Москву снова хлопотать о грамоте на свой былой климентовский приход.

К следующему году относится землемерная – Строельная книга церковных земель, уточнявшая размеры «монастыря», или собственно к церкви приписанной земли. Ее при Клименте числилось, соотносясь с единицами измерения наших дней, около двенадцати соток: двенадцать сажень по Климентовскому и четырнадцать по отходящему от него Голиковскому переулкам. Именно от тех далеких лет и пришел замысловатый изгиб Голиковского переулка, и ширина Климентовского, и расстояние от церкви до ближайших домов. Конечно, дома с тех пор успели измениться, и все же сохраненные их расположением элементы градостроительной структуры необходимо сохранить. Рассуждения проектировщиков будущей пешеход-

ной зоны о целесообразности «открыть» памятник архитектуры для широкого обзора равносильно приговору для неповторимого в своем колорите уголка Москвы.

Можно ли предположить, что на таком небольшом «монастыре» помещались две церкви или что одна из них осталась неопианной? И в том и в другом случае ответ будет только отрицательным. Разгадка двойного названия прихода крылась в одной из хранившихся у Климента икон.

Согласно многочисленным путеводителям по московским святыням прошлого века, Климентовская церковь была известна двумя чудотворными иконами: Николая Чудотворца и Знамения Богородицы. Обе они составляли вклад думного дьяка Александра Дурова, причем вторая несла на обороте подробную запись его семейной легенды. Записанное полууставом XVII века предание гласило, что в 1636 году Александр Степанович Дуров был оклеветан, безвинно осужден и приговорен к смертной казни. В канун исполнения приговора Дурову якобы было видение от его домовых икон Знамения Богородицы и Николая Чудотворца, взятых им с собой в темницу, – что казни не будет и он останется жив. Подобное видение было будто бы в ту же ночь и царю Михаилу Федоровичу, который тут же затребовал дело дьяка, пересмотрел его заново и оправдал Дурова. Дуров же, согласно данному в темнице обету, «устроил на том месте, иде же бысть его дом, церковь каменну, украсив ее всяким благолепием, в честь Божия Матери Честнаго Ее Знамения с приделом святителя Николая. А сии святые иконы, яко его домовнии, постави в том святом храме». Фактический год основания Знаменской церкви неизвестен, закончена же она

была в 1717 (1662) году, как свидетельствует «Реестр церквей, находящихся в Москве с показанием строения лет, приходских дворов и расстояния от церкви до церкви места» 1722 года. В том, что ее не учли материалы церковных переписей, нет ничего удивительного.

Двор дьяка находился «в смежестве» с церковным участком, и новая, обетная, Знаменская церковь была сооружена именно на нем. Ее отделял от приходской, Климентовской, примерно метровый проход, благодаря чему, с точки зрения топографов, оба храма составляли единое целое, а по разумению церковных властей, учитывая малые размеры прихода, не было возможности обременять прихожан содержанием еще одного причта. Обе церкви обслуживались одним клиром и за них вносился по-прежнему общий оклад. Тем более, что первоначально состоятельностью А.С. Дуров не отличался.

Родоначальник будущего дворянского рода Дуровых, он начинал с приказной службы. В качестве подьячего ему довелось побывать посланником в Крыму в 1630 году, затем в должности дьяка Ямского приказа отправиться в поход под Смоленск «в большом полку» с боярином Михаилом Борисовичем Шеиным. Участие в неудачном для русских войск походе действительно едва не стоило А.С. Дурову жизни – надпись на иконе была не совсем точна только в отношении года: не 1636, но 1634-й.

Первые месяцы похода прошли благополучно. Сдалось много городов, готов был сдаться после 8-месячной осады и Смоленск. Осажденным не хватало провианта, на что и рассчитывали воеводы Шеин и Измайлов. Но начавшиеся дей-

тивия крымцев побудили многих дворян устремиться на юг – защищать собственные владения. Подошедший с подкреплением король Владислав перерезал осаждавшим дорогу на Москву. Теперь недостаток продовольствия стали испытывать московские части. Воеводы пошли на переговоры, и здесь-то переломилась их судьба: слишком велики были уступки московских военачальников, на слишком большой позор они согласились. Врагу достался обоз, артиллерия, но еще к тому же отступали наши войска, по-рабски склоняя знамена перед Владиславом. С таким унижением согласиться было невозможно. Возмутились бояре, возмутился Михаил Федорович, и в 1634 году казнены были Михаил Шеин и Артемий Измайлов, а вместе с последним и его сын Василий Артемьевич. За семейный позор пришлось поплатиться даже их родственникам, не говоря о помощниках по походу. По всей вероятности, разбирательство продолжалось, но А.С. Дуров оказался непричастным к делам и решениям воевод.

Оправданный перед царем, А.С. Дуров успешно продолжал свою службу. За службу в Астрахани получил «у государя стола шубу, атлас золотный, кубок и придачу к окладу» – было это в конце 1643 года. Участвовал в отражении татарского набега на Тулу, в походе государя в Вязьму в 1654 году. Вместе с князем Н.А. Трубецким был допущен к переписыванию «всяких дел» разжалованного патриарха Никона, состоял в приказах Стрелецком, Большого прихода, Конюшенного и Устюжской чети.

Существует и еще одно обстоятельство Смоленского похода, которое могло быть вменено в вину оборотистому при-

казному. В опубликованных Н.В. Калачовым «Актах, относящихся до юридического быта древней России» упоминается, что А.С. Дуров «безденежно» купил у некоего Е. Гвоздева вотчину. Продавец в 1634 году обратился с жалобой к царю, в результате чего сделка была расторгнута, вотчина возвращена прежнему владельцу, и впредь такие «безденежные» купли строго-настрога запрещены.

Смерть А.С. Дурова в 1671 году положила конец заботам этой семьи о Знаменской церкви, которая оказывается на попечении прихода. Новый обмер земель, производившийся в 1679 – 1681 годах, ничего нового не дает, из чего можно заключить, что никаких коренных переделок обе церкви за это время не претерпели. Не пострадали они и от большого пожара 1688 года, сохранив свой первоначальный вид, насколько можно судить по регистрации антиминсов, до 1710 года. Расположение их было оговорено в несохранившейся летописи Климентовской церкви. Знаменская находилась на месте позднейшего придела Знамения в нынешнем Преображенском храме, то есть слева от главного престола, Климентовская – на месте позднейшего придела Климента, то есть в правой части трапезной. Та же летопись прямо указывала, что основное богослужение совершалось в Знаменской церкви, тогда как Климентовская использовалась исключительно как кладбищенская – следы древнего погоста и надгробий со стороны Пятницкой улицы сохранялись вплоть до конца 1940-х годов.

1714 год принес указ Петра I о запрещении строить в Москве, как и повсюду в русском государстве, всякое каменное строение. Нарушение указа каралось возведением винов-

ным в принудительном порядке постройки такого же размера в Петербурге. В действительности Патриаршим Казенным приказом не было зарегистрировано ни одного нового церковного строительства уже с 1712 года. Исключение составляют несколько церквей, начатых, по-видимому, ранее и потому пользовавшихся правом достройки. Это церковь Казанской Божьей Матери Вознесенского девичьего монастыря, Нерукотворенного Спаса на дворе Строгоновых, Благовещения на Тверской и церковь Петра и Павла на Новой Басманной, начатая по благословению митрополита Стефана и указу Петра I в 1705 году и в 1714-м близкая к окончанию. Климент в делах Казенного приказа не упоминался.

Отмена петровского запрета последовала только в конце января 1728 года: «Его императорское величество указал впредь с сего указа в Москве всякое каменное строение, как в Кремле, в Китае, так и в Белом и в Земляном городах, кто как похочет, делать позволить». Прихожане и причт климентовского прихода сразу же стали перед необходимостью немедленного ремонта и перестройки своей обветшалой Знаменской церкви, свод которой грозил падением, а внутреннее устройство было почему-то неудобно для богослужения. В ответ на их прошение Патриарший Казенный приказ запечатал 27 мая 1730 года указ «О строении Замоскворецкого сорока церкви Знамения Пресвятой Богородицы и Климонта папы Римского, что на Ордынцах, попа Симеона Васильева с прихожанами, велено: в той настоящей Знаменской церкви старый свод разобрав поднять в вышину и построить вновь, также и престол в той же церкви сделать посредине алтаря понеже оный престол стоял к одной стороне».

Климентовская церковь к этому времени не меньше нуждалась в ремонте, тем более что была много старше Знаменской и службы в ней не производились – стояла она «без пения». Но приход по своей скудости не мог позаботиться об обеих церквях, и выбор, естественно, пал на требовавшую меньших затрат Знаменскую церковь, в которой и был произведен частичный ремонт. Климентовский приход в это время к числу состоятельных не принадлежал. Приписано было к нему всего 35 дворов и оклад его оставался одним из самых низких в Замоскворечье: кругом причты платили до десяти алтын, с Климонта полагалось всего три алтына две деньги. Поэтому и в торжественном церемониале погребения царевны Прасковьи Иоанновны в начале 1730-х годов климентовским попу с дьяконом было отведено самое последнее место среди священнослужителей их сорока.

Лишних денег в приходе не водилось. Не стало в 1729 году у Климента дьякона, возвели на его место собственного дьячка, а нового младшего причетника взяли из числа сельских: дешевле обходились, меньше требовали. Сыскался такой «Московского уезда, вотчины князь Львова от церкви Покрова, что в селе Покровском». Хлопотали о назначении поп Симеон Васильев с прихожанами, и тот же Симеон в 1743 году кланялся о назначении церковным старостой посадского человека Николая Дмитриева Левина. Старостой каждая церковь хотела иметь одного из самых состоятельных прихожан, климентовский приход лучшей кандидатурой не располагал. Тем удивительнее было появление здесь дошедшего до наших дней богатейшего и принадлежащего выдающемуся зодчему храма.

Его необычную историю содержал в себе помеченный 1754 годом рукописный сборник, обнаруженный сто лет спустя в городе Верхнеуральске Оренбургской губернии. По обычаю тех лет, сборник содержал пеструю смесь занимательных рассказов в духе итальянских фацеций, сведений о лекарствах, планетах, травах, минералах, стихов, и в заключение обстоятельное «Сказание о церкви Преображения Господня между Пятницкой и Ордынкой, паки рекомой Климентовской». С публикацией «Сказания» в «Московских ведомостях» выступил подрегент синодального хора в кремлевском Успенском соборе Руф Игнатъев, известный специалист по археологии, археографии и этнографии.

Первый естественно возникавший вопрос – каким образом история московской церкви могла оказаться на восточном склоне Уральского хребта, при впадении в Урал речушки Урляды. Скорее всего сборник мог составлять собственность кого-то из попавших сюда офицеров. Верхнеуральск был основан всего лишь в 1734 году, до 1775-го носил название Верхнеяицка и входил в состав Уйской охранной линии. Но в 1755 году он был в центре событий так называемого Бурзянского бунта, охватившего башкир и мещеряков. Офицеры попали сюда с воинскими частями, присланными для подавления мятежа. Трудно представить, чтобы кому-нибудь, кроме жителей Замоскворечья, была интересна история приходской, не прославившейся никакими святынями церкви.

Согласно «Сказанию», в последние годы царствования Анны Иоанновны в московском климентовском приходе находились палаты А.П. Бестужева-Рюмина. По предположению

автора, пребывал «боярин» постоянно в Петербурге. За оставленным хозяйством доглядывал его управляющий Иван Данилыч Монастырев. Ввиду сильного обветшания Климентовской церкви ее давний настоятель и подружившийся с ним управляющий решились просить вельможу о вспомоществовании. В своем письме они просили его о деньгах на ремонт и – чтобы подсластить пилюлю, поскольку А.П. Бестужев-Рюмин щедростью не отличался, – о лекарствах. Было известно, как увлекается граф их составлением. Но расчет оправдался только наполовину: лекарства пришли, деньги – нет.

Когда дворцовый переворот привел на престол Елизавету Петровну, Бестужев-Рюмин деятельно помогал цесаревне и в честь знаменательного события решил возвести новый храм. При этих обстоятельствах ему припомнилась забытая московская церковь, престольный праздник которой приходился на редкость удачно на день восшествия новой императрицы на престол. «Боярин» выделил на строительство 70 тысяч рублей, заказал придворному архитектору план и фасад и отправил в Москву для ведения строительных работ надворного советника Воропаева.

Заслуживало ли доверия «Сказание»? Во всяком случае, в ряде утверждений его легко было проверить. Палаты Бестужева-Рюмина в климентовском приходе действительно существовали – о них говорили совершавшиеся прихожанами акты купли-продажи «в смежестве». Управляющий И.Д. Монастырев упоминается в бестужевском архивном фонде. Священником, многие десятилетия состоявшим в приходе, был скорее всего Семен Васильев, хлопотавший о починке церкви

и в 1720-х, и в 1740-х годах.

Правда, находился А.П. Бестужев-Рюмин не в Петербурге, а за рубежом. С 1720 года он состоял русским резидентом в Дании, с 1731 года в Гамбурге, с 1734-го снова в Копенгагене, а до 1740-го посланником при ниже-саксонском дворе. Приезды его в Россию были нечастыми и ограничивались обычно одним Петербургом. Но зато редкой портретной чертой было увлечение вельможи химией.

Где бы ни приходилось находиться Бестужеву-Рюмину, он всюду оборудовал превосходную химическую лабораторию и набирал необходимых для работы в ней помощников из числа профессиональных химиков-фармацевтов. Опыты в бестужевской лаборатории велись постоянно и с его непосредственным участием. Дипломата занимало искусство врачевания и составления новых лекарственных препаратов.

Успех Бестужева-Рюмина – многие ли химики могут похвастать созданием лекарства, продержавшегося в обиходе медицины без малого двести лет! – остался в истории лекарственных веществ. Знаменитые Бестужевские капли, иначе спирто-эфирный раствор полутораклористого железа, считавшиеся незаменимым средством для восстановления нервной системы!

В жизненных перипетиях дипломата занятия химией имели свои полосы удач и неудач. В одну из последних сотрудник Бестужева-Рюмина химик Лемоке решил обогатиться за счет изобретенных при его участии, как их тогда называли, «капель жизни». Рецепт был продан французскому фармацевту Ламотту, который не замедлил пустить их в ход под своим именем.

Лекарство творило чудеса. Имя Ламотта приобрело европейскую известность. И понадобилось личное вмешательство Екатерины II, чтобы положить конец незаслуженной славе. В начале 1770-х годов в «Санкт-Петербургских ведомостях» появился специальный царский указ, утверждавший приоритет Бестужева. Все это произошло после смерти дипломата и стало своеобразным памятником его научной деятельности. Современники утверждали, что Екатерине довелось испытать на себе живительное действие лекарства, и из-за одного этого она испытывала к изобретателю чувство живейшей признательности.

Тем самым приведенные в первой части «Сказания» факты находили подтверждение. Автор был хорошо знаком с людьми, обстоятельствами дела и не использовал никаких слухов. Тем более интересным представлялось описание им собственно строительства.

Приехавший в Москву Воропаев начал со спешной разборки Знаменской церкви – места для строительства на «монастыре» и без того было слишком мало. Его усердие увенчалось успехом. Уже летом 1742 года стало возможным приступить к строительным работам. Нетрудно догадаться, что важно было приурочить закладку новой Климентовской церкви к коронационным торжествам.

Но скорое начало не означало столь же деятельного продолжения. По словам автора «Сказания», несмотря на вполне достаточные средства и постоянное присутствие надворного советника, строительство непонятным образом затянулось на десять с лишним лет. После торжественной закладки Климента, на которой священнодействовал один из наиболее влиятельных

членов Синода, одинаково любимый Анной Иоанновной и Елизаветой Петровной епископ Вологодский и архиепископ Новгородский Амвросий Юшкевич, дипломат заметно охладил к своему детищу. Деньги на него стал отпускать неохотно и нерегулярно. Обычная прижимистость Бестужева-Рюмина, на которую только между строк решался намекнуть автор, давала о себе знать все сильнее. Тем не менее в 1754 году здание вчерне удалось закончить – имелись в виду основная коробка церкви и ее внешние фасады.

Храм стоял, но нуждался в дорогостоящей внутренней отделке, без которой не мог быть освящен. Все обращенные к Бестужеву-Рюмину просьбы прихожан оставались без ответа. Приход по-прежнему пользовался теперь уже очень сильно обветшавшей Климентовской церковкой, ютившейся у основания вновь возведенного красавца храма, к тому же окруженного крестами и памятниками древнего погоста. Так обстояло дело в 1754 году, когда автор писал свое «Сказание».

Дальнейшую историю позволяют восстановить документы. Денег в приходе удалось с трудом набрать на то, чтобы заменить ветхую, считавшуюся кладбищенской церковь теплой трапезной, пристроенной к незавершенному Клименту. Отсюда появившийся в справочниках год строительства трапезной – 1756-й, подтверждаемый сохранившимися в Московской духовной консистории материалами.

Кстати, – и это очень существенная подробность – среди прихожан в это время числится тот самый Козьма Матвеевич Матвеев, которому большинство справочников приписывает строительство всей Климентовской церкви. Его участие во

взносах на трапезную было столь незначительным, что церковный староста не считал возможным выделить Матвеева среди других прихожан. К тому же Козьма Матвеевич одним из последних по времени внес свою лепту. Откуда же, в таком случае, у него два года спустя взялись средства на сооружение огромного храма?

Но здесь возникал и еще один существенный вопрос. Благословенная грамота на строительство трапезной существовала, почему же в архиве не было аналогичного документа, разрешавшего возведение церкви, – ни в том году, о котором говорило «Сказание», ни в те годы, которые приводили справочники и курсы истории русской архитектуры? Значило ли это, что могла существовать еще какая-то, пока не выясненная, дата его основания? Как ни удивительно, но как раз отсутствие храмозданной грамоты служило косвенным доказательством правоты «Сказания». Именно в это недолгое время 1742 – марта 1743 года происходило переустройство церковной администрации, и Бестужев-Рюмин, имея в виду его высокое положение при дворе, мог получить простое разрешение Московского Синодального правления канцелярии, тем более что речь шла об увековечении дня восшествия на престол новой императрицы.

Климент счастливо избежал самых страшных пожаров Москвы в XVII веке – не потому ли в новом храме появился редкий для московских храмов придел Неопалимой Купины, предохраняющей, по народному поверью, от огненной напасти? И снова пожары 1748 и 1752 годов не нанесли строившейся церкви никакого урона. Климент разделил общую судьбу московских церквей только в 1812 году, когда сгорели и все приходские

дворы, и внутренность церкви, ее завершенное или не вполне завершенное – относительно замысла зодчего – убранство. Потери были так велики, что после ухода наполеоновской армии не оказалось возможным освятить ни одного придела – ни в холодном храме, ни в теплой трапезной. Средств у прихожан снова не было. Досконально проверив действительное их материальное положение, Московское епархиальное управление включило Климента в число 14 церквей, которые получили единовременное денежное вспомоществование. Откликнулись на его беду и дворяне Костромы, добавившие от себя значительную сумму. В результате в мае 1813 года удалось освятить наиболее чтимый Климентовский придел. С остальными дело затянулось, средства продолжали собираться по крохам. Предполагаемый строитель храма или, по крайней мере, его наследники почему-то участия в ремонтных работах не приняли.

В момент первоначального строительства К.М. Матвеев располагал единственным в Москве собственным домом «на монастыре» Климентовской церкви. В Замоскворечье два дома числились и за его женой Анисьей Григорьевной, однако по своим размерам все три владения никак не свидетельствовали о высокой состоятельности семьи. К началу 1820-х годов ни Матвеева, ни его жены среди московских домовладельцев уже не числилось. Исчезла их фамилия и из исповедных книг климентовского прихода – основной формы регистрации москвичей. Сын Матвеевых, чиновник 8 класса в Воспитательном доме, за восстановление утраченного жилья братья, по-видимому, не стал, удовлетворившись казенной квартирой, которую предоставляла ему служба.

Между тем имя К.М. Матвеева появляется там, где его меньше всего можно было ожидать, – в архиве Бестужева-Рюмина. Прихожанин Климентовской церкви не занимает сколько-нибудь значительного положения в ведомстве великого канцлера, но выполняет какие-то неизвестные личные его поручения. В 1741 году он, по-видимому, становится посредником между Бестужевым-Рюминым и правительницей принцессой Анной Леопольдовной. Без посредников будущий канцлер в это время не мог обойтись. Формально над ним довлеет суровый приговор, из ссылки в Петербург он привезен тайно, но правительница испытывает все большую нужду в услугах опытного царедворца. К.М. Матвеев пользуется в этой ситуации почти неограниченным доверием: проникать во дворец, передавать важные бумаги. По-видимому, и в отношении окончания строительства Климентовской церкви на долю Матвеева выпала именно роль посредника, потому что Бестужев-Рюмин снова находился в «жестокой ссылке» и сам заниматься московским строительством не имел права. В последние годы правления Елизаветы Петровны он завязывает отношения с ненавидимой ее невесткой – будущей Екатериной II. Приняв один из болезненных припадков императрицы за смертельный, канцлер предпринимает несколько опрометчивых шагов, чтобы обеспечить престол великой княгине. Его действия становятся известными выздоровевшей Елизавете Петровне, и Бестужев-Рюмин в который раз в своей жизни приговаривается к смертной казни, милостиво заменяемой пожизненной ссылкой с лишением всех чинов, знаков отличия, поместий и дворянства. Местом его ссылки на этот раз оказывается село Горетово вблизи Мо-

жайска. Возобновленные работы по строительству Климентовской церкви должны были напомнить императрице о былой верности разжалованного царедворца.

Но довести строительство до конца и на этот раз не удалось. С вступлением на престол Екатерины II Бестужев-Рюмин восстанавливается во всех правах, возвращается ко двору, занимает, хотя бы формально, место доверенного советника императрицы. В этих условиях излишние заботы о памятнике ее предшественнице были и не нужны, и опасны. Былой канцлер снова начинает тянуть с оплатой работ, а затем, по-видимому, и вовсе отказывается от их продолжения. Отсюда возникает характерное для Климента несоответствие между тщательно и изысканно оформленными фасадами и предельно скупой, грубоватой отделкой интерьеров, скупой маловыразительной лепниной в них. Замысел архитектора? Но для ответа на этот вопрос надо было бы наконец со всей определенностью назвать имя зодчего.

Путаясь в датах строительства церкви, трапезной, колокольни, справочники приводят несколько возможных вариантов, впрочем, не подтвержденных никакими документами. Здесь и глава московской архитектурной школы Д.В. Ухтомский, и наблюдавший за всеми московскими и подмосковными дворцовыми постройками А.И. Евлашев, и даже В.В. Растрелли, которого некоторые исследователи готовы заменить одним из учеников модного мастера. Между тем «Сказание» обращается к понятию «придворного архитектора», иначе говоря, строителя, достаточно известного при дворе, если и не состоявшего непосредственно в штате, – выполнявшего соот-

ветствующие заказы. И если так расчетливо выбирал будущий канцлер факт строительства соименной знаменательно для императрицы дню церкви, то скорее всего должен был примениться к вкусам Елизаветы Петровны и при выборе зодчего.

В роли цесаревны Елизавета Петровна не располагала ни средствами, ни возможностями для строительства. Необходимые поделки, в частности, в Александровой слободе, где у нее был дом, выполняли Иван Бланк, поплатившийся за это ссылкой в Сибирь, и Петр Трезин, родственник первого архитектора Петербурга строителя многих петербургских зданий и Петропавловской крепости Доменико Трезини, к тому же, согласно легенде, крестник Петра I.

В первых же указах Елизаветы Петровны фигурируют две одинаково занимавших ее постройки: собор и театр. Собор должен был воплотить благодарность дочери Петра гвардейскому полку, который первым после переворота принес ей присягу на верность. В петербургских слободах Преображенского полка должен быть построен соименный полку храм Преображения с приделом в честь Климента, папы Римского, на день памяти которого пришлось «счастливое восшествие на отеческий престол». Театр – это подарок Москве, в преданности которой Елизавета Петровна не испытывает полной уверенности. Императрица предпочитает сделать старой столице царский подарок – Оперный дом в Лефортове на пять тысяч мест, которым займется В.В. Растрелли. В отношении собора она склоняется к кандидатуре любимого Петром Михайлы Земцова, но до окончательного решения хочет провести род конкурса.

Никита Трубецкой пишет 7 сентября 1742 года подполковнику Преображенского полка графу Салтыкову (полковником числилась сама императрица): «По высочайшему ее императорского величества указу имянному повелено в Санкт-Петербурге в новопостроенных лейб-гвардии Преображенского полку солдатских слободах, где была гренадерской роты съезжая, построить церковь каменную во имя Преображения Господня, по обеим сторонам с приделами, из которых один во имя чудотворца Сергия, а другой Климента папы Римского и Петра Александрийского... А строению той церкви рисунок... рассматриван и сочинен разными манирами от состоящих здесь в Петербурге разных архитекторов. Планы и фасады из которых сочиненные архитектором Земцовым ее императорское величество всемилоостивейше апробовать, и по оному оную церковь с приделами строить указать соизволила».

Новый собор должен был стать семейной святыней возвращенного к власти «гнезда Петрова», поэтому такое значение придает Елизавета каждому из многочисленных проектируемых в нем алтарей. Но самое показательное – все они были предусмотрены и в московском Клименте Бестужева-Рюмина. Отныне официальное название храма по главному алтарю – церковь Преображения «паки рекомая Климентовская». Именно так она и названа автором «Сказания». Более того. Елизавета оговаривает список всех основных икон, и почти весь этот связанный с ее семейством Пантеон будет повторен в бестужевском Клименте. За одним серьезным исключением – опытный царедворец не найдет нужным ввести в московский храм памяти о наследниках престола. Общность многих особенностей Преображенского полкового собора и Климентовской церкви говорила сама за себя и случайной быть не могла.

Утвердив рисунок Земцова, Елизавета вместе с тем привлекает к будущему строительству и Петра Трезина. Он словно готовится к тому, чтобы заменить старшего мастера, и подобная необходимость вскоре наступает. Хлопоты по коронационным торжествам свели и без того перегруженного работой архитектора в могилу. Земцов умер осенью 1743 года. 10 декабря Елизавета Петровна устным приказом назначила руководителем строительства Преображенского собора П. Трезина.

Петру Трезину предстояло не только продолжить работы по проектам Земцова. Заложённых фундаментов и общего плана в основном изменить было нельзя. Но закладка состоялась всего лишь летом 1743 года, и строительство еще по-настоящему не успело развернуться. К тому же Петр Трезин достаточно независим в своих архитектурных решениях. Путем бесконечных поправок, дополнений, уточнений проекта он утверждает собственное решение, тем более что его предложения вполне отвечают вкусам Елизаветы Петровны. Исчезает Земцов, появляется Петр Трезин – метаморфоза, одобренная, а в чем-то и подсказанная императрицей. Преображенский собор – единственная стройка, за которой императрица следит с начала до конца, о ходе же работ ей постоянно докладывает наследник престола, будущий Петр III.

И Елизавета Петровна не ограничивается первым заказом. Вслед за полковым собором она передает в руки Петра Трезина строительство Аничкова дворца, присоединяет к нему Гошпитальную церковь между корпусами Морской и Сухопутной гошпитали. Благоволение императрицы, казалось, открывает перед зодчим широкую дорогу в архитектуре.

Биография архитектора – о ней известно и не слишком много и не очень точно. По всей вероятности, уроженец Петербурга. По-видимому, сын или во всяком случае близкий родственник первого архитектора новой столицы – в документах Петр Трезин не заявляет своего родства. Он завершает образование за границей и возвращается в Россию, но только после смерти Петра. Между тем именно в это время сокращается строительство, исчезает былая увлеченность им. Высокий чин родоначальника этой семьи русских зодчих – полковника Доменико Трезини – наследует не Петр, но муж его сестры Джузеппе, в русской транскрипции – Осип Иванович Трезин. Петру приходится ограничиваться строительством по Таможенному и Конюшенному ведомствам, от которого остались следы только в чертежах, и поделками для цесаревны Елизаветы. Что же касается легенды о том, что он был крестником Петра I, то именно этим обстоятельством объясняла Елизавета Петровна свое обращение к архитектору. На практике же с Петром Трезинным связано распространение в русской архитектуре стиля рококо.

Рококо – стиль, порожденный французским искусством времен Людовика XV, – приходит на русскую почву с опозданием. Новая, светская архитектура, сменившая творения древнерусских зодчих, придерживалась проголландской ориентации. Условия Голландии особенно напоминали Петербург, на котором было сосредоточено внимание реформаторов, а расчетливая простота голландских построек как нельзя более отвечала стремлениям Петра. Ничего лишнего ни в смысле расходов, ни в смысле мастерства.

Подобно Растрелли, Петр Трезин среди тех, кто начинает

отходить от суховатой рациональности начала века. Под влиянием рококо еще недавно такие грузные и строгие стены первых петербургских построек прорастают хитросплетением лепной листвы и цветов. Увеличиваются, будто раскрываются навстречу свету, окна. Их сложный абрис повторяется в бесчисленных зеркалах, щедро покрывающих стены помещений. Колонны сменяются полуколоннами, пилястрами, создавая причудливую игру света и тени, в которой словно растворяется стена. Как фантастические беседки смотрятся внутренние помещения, где зеркало легче принять за окно, а окно за живописное панно, – все в одинаково замысловатом обрамлении лепнины и резьбы. Неустойчивый призрачный мир готовых каждое мгновение смениться зрительных впечатлений – он как настроения человека, к которым так внимательно искусство рококо.

Петр Трезин немного иной. Он как бы серьезней, вдумчивей. Он полон впечатлений от рождающегося Петербурга, но и от архитектуры старой Руси. Конюшенное и Таможенное ведомства, оперный театр в Аничковом дворце, многие церкви – постройки Трезина сохраняют материальность, их декорация более сдержанна. Вместе с тем зодчий ищет, как совместить привычные формы с новым ощущением архитектуры. Именно он предложит ввести в рокайльных церквях-дворцах характерное московское пятиглавие – пять куполов, и его примеру последуют другие зодчие. Это как бы переход рококо на русскую почву со всеми ее особенностями и традициями. И если придирчиво сопоставить проекты архитектора с Климентовской церковью, рука одного автора становится очевидной. Тот же вывод подсказывают и документы: проект памятной московской церкви был

заказан А.П. Бестужевым-Рюминым Петру Трезину.

Но интерес Елизаветы к Петру Трезину оказывается очень недолгим. Ее увлекает дарование В.В. Растрелли, которому императрица препоручает даже внутреннюю отделку Преображенского собора. Первый раз возникающий конфликт со всей остротой дает о себе знать в вопросе о соборном иконостасе. Сдержанный по форме трезиниевский проект отвергается. Многие современники не могли с этим согласиться: «А что ж в письме пишете, что фасад, учиненный Трезиным и присланный в письме Вилима Вилимовича Фермора, гораздо лучше подписанного Растреллилеу и образов более, однако оный тогда как ко апробации был подан, отрешен, а опробован подписанный Растреллилеу...»

Создание иконостаса вообще было связано с большими трудностями. Необходимым числом умелых резчиков Петербург не располагал. Первоначально даже делалась попытка привлечь к работам обладающих соответствующими навыками солдат. Но в сентябре 1749 года на происходивших в Москве торгах заказ на иконостас по рисунку Растрелли получили столяры Кобылинские на сумму в 2800 рублей. Смотрителем над ними был назначен А.И. Евлашев. К 1754 году все работы в Преображенском солдатском соборе были закончены. В первых числах августа состоялось освящение храма в присутствии самой Елизаветы Петровны.

Но ведь именно к 1754 году относит окончание московского Климента и автор «Сказания» – с той только существенной разницей, что работы по внутреннему убранству были заказчиком приостановлены. Вполне возможно, что постигшая П. Трезина неудача побудила Бестужева-Рюмина воздержаться от

ставших излишними трат. Так или иначе, одновременно задуманные соборы одновременно подошли к своему завершению.

Существовало и еще одно обстоятельство, почему П. Трезин не мог уже вмешаться в судьбу своих проектов: несколькими годами раньше ему пришлось оставить Россию. Вслед за собором у него было отобрано строительство Аничкова дворца, также порученное В.В. Растрелли. Новых заказов не было. Последняя отчаянная попытка архитектора – отъезд под видом командировки в Италию. Под влиянием И.И. Шувалова Елизавета Петровна склонялась к восстановлению петровского института государственных пенсионеров. П. Трезин должен был выяснить за рубежом условия работы, но вместо этого он присылает руководству Канцелярии от строений ультиматум-условия, на которых может согласиться продолжать строить в России. Именно строить – то, в чем ему отказывает двор. Ультиматум проходит незамеченным. П. Трезин остается в Италии. Дата его смерти и обстоятельства последних лет жизни остаются неизвестными.

Даже все ученики П. Трезина переводятся в помощники к Растрелли и теряют связь со своим настоящим учителем. А среди них и ставший строителем Ораниенбаума П.Ю. Патон, и родоначальник известной семьи крепостных художников Федор Леонтьевич Аргунов.

Время, казалось, стерло с одинаковым равнодушием и имя архитектора, и имя строителя. И только Климентовская церковь сохранила память, непреходящую память жемчужины нашего искусства о своем создателе, а рядом с ним невольно и о том, в чью человеческую судьбу этот памятник был вплетен: Петр Трезин – великий канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.



НЕУСЛЫШАННАЯ ИСПОВЕДЬ

«Вам никогда не приходило в голову рассказать ход, логику ваших исследований широкому зрителю?» Вопрос был задан Ираклием Луарсабовичем Андронниковым после моего сообщения на Ученом совете Русского музея о портретах воспитанниц Смольного Института благородных девиц Д.Г. Левицкого.

По сути это было благословением создателем оригинального и неповторимого жанра устного рассказа бывшей актрисе. «Рискуйте – стоит того. Главное – найти удобную для вас форму».

Мой первый сценический рассказ состоялся в мемориальных комнатах Гоголя на Никитском бульваре. С участием артистов Малого театра Георгия Куликова, Галины Микшун, Бориса Клюева, Прова Садовского, музыкантов и осветителей театра, в режиссуре работавшего на ТВ Игоря Ларина. «Загадка «Невского проспекта». 18 ноября 1975 года. Первые ряды в приемной Гоголя заняли писатели во главе с Ираклием Луарсабовичем, сдержавшим свое слово.

Андронников организовал трансляцию первого, по его выражению, «спектакля театра мысли» запись и трансляцию на радио, повторение постановки в Центральном Доме Литераторов, в Доме Актера ВТО, тогда еще на Пушкинской пло-

щади, наконец наш гастрольный выезд в Питер во Дворец искусств. И каждый раз со своим вступительным словом, со своим профессиональным и удивительно сердечным напутствием. Все последующие тринадцать лет работы «Театра мысли». Десятки самых престижных площадок Москвы и Питера были под звездой Андронникова. И на скольких программах он был сам! Собранный. На вид замкнутый. В действительности деятельно добрый. Не говорить красивые слова – действовать, его девиз.

Одна из программ «Театра мысли» возникла в результате многолетнего исследования творчества Александра Сергеевича Грибоедова. Она же легла в основу телесериала «В поисках Софьи», поставленного режиссером Анатолием Анатольевичем Семеновым. После военных югославских репортажей. Тема единственного смысла жизни и существования человека – веры и верности.



И все-таки первым было слово. Сегодня всеми забытое. Старомодное. С неповторимым оттенком душевного расположения, привязанности, почти любования. Поздравляя артистку Любочку Дюрову с замужеством – она стала женой известного драматурга актера-комика Петра Каратыгина, – Грибоедов скажет: «Какая бы вы были славная Софья!» Славная?

Но ведь ни у кого из современников она не вызвала и тени симпатии. Ее осуждали так резко, что многие разделяли вывод литератора графа Хвостова: она недостойна вообще быть

выведена на сцене. Или сам Грибоедов – разве нашел он для нее хоть каплю снисхождения, понимания?

«Ты находишь главную погрешность в плане: – мне кажется он прост и ясен по цели и исполнению; девушка, сама неглупая, предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы у нас, грешных, ум был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека), и этот человек, разумеется, в противуречии с обществом его окружающим: его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко выше прочих; сначала он весел, и это порок: «Шутить, и век шутить, как вас на это станет!» «Слегка перебирает странности прежних знакомых, что же делать, коли нет в них благороднейшей заметной черты! Его насмешки неязвительны, куда его не взбесить, но все-таки: «Не человек – змея!» А после, когда вмешивается личность – «наших затронули! – предается анафеме: «Унизить рад, кольнуть, завистлив! горд и зол!». Не терпит подлости: «Ах! боже мой, он карбонарий!». Кто-то со злости выдумал об нем, что он сумасшедший, никто не поверил и все повторяют, голос общего недоброхотства и до него доходит, притом нелюбовь к нему той девушки, ради которой он единственно явился в Москву, ему совершенно объясняется. Он ей и всем наплевал в глаза и был таков. Ферзь тоже разочарована насчет своего Сахара Медовича. Что же может быть полнее этого?»

Пожалуй, ничего, если говорить о жизненной ситуации. Но здесь речь вообще шла о сюжетной завязке. Любой школьный учебник утверждает: в жизни автора не было никакой подобной любовной истории. Софью пришлось выдумать ради

построения пьесы. Характер значения не имел – главным оставалось подыграть Чацкому и его монологам. Среди всех действующих лиц Софья оказалась единственной. О всех остальных Грибоедов не скрывал: портреты и только портреты стояли за каждым из них. Но тогда тем более откуда появилась «славная»? Сдержанный, подчас откровенно язвительный в общении с незнакомыми, Грибоедов оставался неизменно сердечным и непосредственным с друзьями, и только в переписке с ними он может сказать о славном житье на первой его петербургской квартире у Александра Одоевского. О славном самом Саше Одоевском, к которому так прикипел сердцем. Память сердца – как он умел ее хранить.

Шесть лет без Петербурга... Его и ждали и не ждали – слишком неожиданно сменил он старую столицу на берега Невы. Каждый из друзей предлагал, попросту требовал, чтобы беглый москвич остановился именно у него. Князь Александр Шаховской, Николай Греч, Андрей Жандр, даже муж двоюродной сестры Иван Паскевич – Грибоедов без колебаний предпочел Одоевского. Двухэтажный дом на Торговой со своим удивительным бытом и своими легендами. Еще недавно им владел корабельный мастер Иван Амосов, которого сменила в качестве хозяйки бывшая любовница Шереметева, принеся богатое приданое и карьеру некоему коллежскому асессору В.В. Погодину. Происхождение жениных капиталов коллежского асессора не смущало – свою ставку он сделал на Аракчеева, у которого выслуживался как мог, пока не обнаружил случайно на столе покровителя записку с собственной характеристикой: «Глуп, подл и ленив». Растерянность и обида оказались так велики,

что Погодин не преминул оповестить о записке весь Петербург – повод для множества насмешек и анекдотов. Но это всего лишь дополнение к «Горю от ума».

Летом 1824 года дом на Торговой превращается в настоящий литературный клуб. Здесь собираются все, кто хочет переписать комедию под диктовку. Военная молодежь, отправляясь в отпуска, развозила пьесу по всей России. И это одновременно с авторскими чтениями «Горя». Из письма Грибоедова Степану Бегичеву: «Читал я ее Крылову, Жандру, Хмельницкому, Гречу и Булгарину, Колосовой, Каратыгину, дай счесть: 8 чтений. Нет, обчелся, двенадцать... Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет».

Дом на Торговой – это страшное наводнение, описанное в «Медном всаднике» со слов очевидцев и непосредственно пережитое Грибоедовым. По его словам, в мгновение ока из-под пола рванулись потоки воды и затопили комнаты. Пришлось спасаться у соседей на втором этаже. А на Торговой, «где за час пролегла оживленная проезжая улица, катились ярые волны, с ревом и пеной». Четырьмя годами позже он будет вспоминать об этом дне в письме Александру Одоевскому, сосланному на Нерчинские рудники: «Ты, верно, все тот же мой кроткий, умный и прекрасный Александр, каким был в Стрельно и в Коломне, в доме Погодина. Помнишь, мой друг, во время наводнения, как ты плыл и тонул, чтобы добраться до меня и меня спасти».

Были встречи, переживания и были надежды. Прежде всего на цензурное разрешение «Горя»: «Жду, урезаваю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической

картины яркие краски совсем пополовели, сержусь и восстанавливаю старое, так что кажется, работе конца не будет... «А пока, в преддверии большой сцены, работа с воспитанниками Театральной школы. Это они предложили в полной тайне от начальства поставить «Горе». Грибоедов сам взялся за режиссуру, на одну из репетиций привез Кюхельбекера и Бестужева-Марлинского, радовался отдельным исполнителям. Софью готовила Любочка Дюрова. Накануне премьеры спектакль по доносу был запрещен.

Теперь, в последние недели последнего пребывания в Петербурге все прошлое и будущее виделось с поразительной ясностью и безнадежностью. 14 марта 1828 года чиновник Коллегии иностранных дел Александр Грибоедов привез в Петербург известие о заключении Туркманчайского мира. 25 апреля назначенный министром-резидентом в Тегеран видный дипломат Грибоедов вынужден был сменить привычные Демутовы номера на отдельную, пусть и очень скромно меблированную квартиру: количество желавших завязать с ним знакомство чиновников росло не по дням, а по часам. Оставалось жаловаться Полевому: «Чего эти господа хотят от меня? Целое утро они сменяли у меня один другого. А нам, право, не о чем говорить: у нас нет ничего общего». Спартанская обстановка свидетельствовала не столько о вкусах хозяина, сколько о его стесненных материальных средствах. Ни движимого ни недвижимого имущества он не имел, позволяя себе единственную роскошь – великолепный концертный рояль. Об отъезде старался не думать: «Там моя могила. Чувствую, что не увижу более России... « Поздравление Любочки Дюровой было и прощанием с надеждой увидеть «Горе» на сцене.

Автор разминулся со своей комедией всего на два года. Грибоедова не стало в 1829 году, в 1831-м состоялась первая постановка «Горя», хотя и в сильно искаженном виде, в Москве на казенной сцене. Первым исполнителем Чацкого становится Павел Мочалов, Софьи – Мария Дмитриевна Львова-Синецкая. Мария Дмитриевна уже не молода и, во всяком случае, намного старше своей героини. На профессиональную сцену она приходит из любительского театра. Когда-то она вместе с только что выпущенным из лицея Пушкиным играла в «Воздушных замках» Хмельницкого, которые ставились в доме Олениных. Свои первые уроки мастерства актриса брала у князя Шаховского в Петербурге и не устояла перед приглашением создававшего московский казенный театр Кокошкина войти в его труппу. Ее объединяли с завсегдатаями «чердачка» Шаховского литературные интересы, и в Москве успех первых выступлений Львовой-Синецкой мешается с живым интересом москвичей к ее литературному салону, в котором можно встретить и профессоров Московского университета, и известных музыкантов, и представителей высшего света. Для первого же бенефиса актрисы Грибоедов пишет в 1824 году водевиль «Кто брат? Кто сестра?», где обе роли с блеском исполняет бенефициантка. Не улыбочивая, почти суровая, не выносившая закулисных историй и сплетен, Мария Дмитриевна многое знает о жизни того же Грибоедова, еще больше имеет основание догадываться. Ее Софья внешне очень напоминает сторевшую от чахотки Любочку Дюрову, и актриса не скрывает желания добиться такого сходства: «Оно будет вернее...» Смелый взгляд, стремительная походка, живость реплик и – глубоко скрытая, все еще неперези-



тая, все еще ранящая любовь к Чацкому. Львову-Синецкую обвинят в неправильном прочтении образа, актриса усмехнется и ничего не изменит в рисунке роли.

Положим, ни Мария Дмитриевна, ни Любочка не похожи на современных им актрис. Львова-Синецкая из одной с Пушкиным среды, Любовь Осиповна внучка французского эмигранта, во время французской революции переселившегося по политическим мотивам в Польшу. Театральная школа открывала перед ней и ее братом Николаем Дюром лучший из возможных жизненных путей – материальными средствами семья не обладала, а врожденная культура много давала для сцены. Николай обладал хорошим баритоном, был выпущен певцом, но вскоре перешел на драматическую сцену, где пользовался особым успехом в ролях повес и волокит. Первый исполнитель роли Хлестакова на петербургской сцене, он решительно не понравился Гоголю, хотя через поколение другие исполнители пошли именно по его пути. О Любочке также отзывались, что она была на сцене настоящей столичной барышней, очаровательной без кокетства, непосредственной без пошлости, независимой без заносчивости. Но ведь повторяя внешний рисунок ее роли, Львова-Синецкая могла, как и она, иметь в виду живой прототип. Прототип, который должен был существовать, судя хотя бы по удивительно личной интонации в трактовке сюжета «Горя» Грибоедовым.

Решения Львовой-Синецкой никто впоследствии из актрис повторять не стал. Образ Софьи стал проще и однозначней. Но существовала другая традиция, которая сохраняется до наших дней – декорация последнего акта «Горя» – сени фамусов-

ского дома. Расходящаяся двумя маршами лестница на второй этаж. Колонны, скрывшие двери в швейцарскую и комнату Молчалина. Стекланный тамбур – от московских холодов. Художник постановки Малого театра 1861 года точно повторил сени Дома Фамусова – того самого нарядного особняка, который еще недавно украшал Пушкинскую площадь, уступив место тротуару у нового здания «Известий». И для тех, кто настаивал на бессмысленном сносе, и для тех, кто отчаянно ему сопротивлялся, название не подлежало сомнению – именно Дом Фамусова. Но раз Фамусова, то значит, и Софьи. Так не здесь ли крылась разгадка? Вот только все, что касается обстоятельств жизни Грибоедова, окутано плотным туманом непроверенных легенд.

Хозяин особняка на площади Тверских ворот, как называлась при Грибоедове Пушкинская площадь, – его писатель просто не знал и, во всяком случае, не настолько, чтобы сделать главным героем «Горя от ума». Дом свой он построил в 1803 году и переехал туда со всем своим многочисленным семейством. Александр Яковлевич Римский-Корсаков происходил из очень древней, занимавшей достойное положение, но не отличавшейся службистским рвением семьи. Камергер, он был женат на Марье Ивановне Наумовой, дочери урожденной княжны Варвары Алексеевны Голицыной. У супругов имелись высокие связи, имелось и немалое состояние. Дом у Тверских ворот сразу становится одним из самых гостеприимных и хлебосольных в Москве. Балы, ужины, обеды, праздничные затеи следовали один за другим. Марию Ивановну так и звали в Москве «великой выдумщицей» на всяческие затеи. Да вряд ли она могла

быть иной, имея на руках пятерых дочерей-невест, не говоря о троих сыновьях-гусарах. Сыновья отличались блестящей храбростью, барышни Римские-Корсаковы – редкой красотой. Миновать их дом никто из московской молодежи просто не мог. Между тем деньги уходили, по выражению хозяйки дома, как вода в песок. Приходилось выкручиваться, входить в долги. После окончания московского дома волей-неволей пришлось расстаться с наследственным наумовским гнездом – Демьяновым вблизи Клина: Мария Ивановна продала его в 1807 году А.А. Полторацкой. Назидание Фамусова Чацкому: «Имением своим не управляй оплошно» в полной мере относилось к Римским-Корсаковым. Единственной поддержкой служили родственники, почти как в «Евгении Онегине», вовремя умиравшие и оставлявшие нужные завещания.

И все же судьба не баловала Римских-Корсаковых. Служивший с 1803 года в кавалергардах, красавец и богатырь, первенец родителей Павел погибает при Бородине. К отчаянью отца и матери тела его так и не удалось найти. Недолгая жизнь отведена красавице Варваре, невесте флигель-адъютанта А.А. Ржевского, погибшего в битве под Фридрихсдорфом. Пережить любимого она не смогла. Сразу после войны 1812 года уходит из жизни Александр Яковлевич, и хлопотунья Мария Ивановна уже сама с немалыми трудностями выдает засидевшуюся в девках, почти тридцатилетнюю дочь Софью за московского обер-полицмейстера А.А. Волкова. Гордости такой брак семье не приносил, но ничего другого у матери не получилось. А между тем балы и праздники в корсаковском доме шли своей неумолимой чередой, и восторженные московские рифмоплеты продолжали писать:

Мазурка

Скорей сюда все поспешайте,
Кто хороводом здесь ведет,
Хвалы ей дань вы отдавайте:
Ее в красе кто превзойдет?

Но не уступит ей другая,
Искусством, ловкостью, красой,
И сердце, душу восхищая,
Блестит как солнышко весной.

Но трудно третьей поровняться,
Шептать все стали про себя;
Но вот и ты; и нам бояться
Не нужно, право, за тебя.

Еще четвертая явилась
И стала с прежними равна;
Но слава прежних не затмилась:
Четыре словно как одна.

Рядом с «Мазуркой» были «Экосез» и «Полькой» – «Куплеты, петье в маскарade М.И. Римской-Корсаковой 1820 года Генваря 14 дня». Кроме Софьи Волковой, поэты восхищались Натальей и совсем юными Екатериной, будущей музой композитора А.А. Алябьева, и Александрой, будущей женой князя Александра Николаевича Вяземского, которой

Пушкин посвятил строки «Евгения Онегина»: «У ночи много звезд прелестных, Красавиц много на Москве... «Ее портрет остался в незаконченном пушкинском «Романе на Кавказских водах»: «Девушка лет 18-ти, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами». Поэт спрашивал о семье Римских-Корсаковых в письмах из Кишинева, сразу по возвращении из ссылки в Михайловском стал у них постоянно бывать. В конце 1828 года П.А. Вяземский писал жене: «Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и цыган». На первый взгляд, неожиданное сочетание, в действительности объединившее те московские места, где Пушкин не скучал. И еще одни куплеты из числа «маскератных» о доме у Тверских ворот:

Здесь веселье соединяет
Резвость, юность, красоту;
Старость хладная вкушает
Прежних лет своих мечту.

Для хозяйки столько милой
Нет препятствий, нет труда;
Пусть ворчит старик унылой,
Веселиться не беда.

Ряд красот, молодых, прелестных,
Оживляет все сердца.
После подвигов чудесных
Воин ждет любви венца.

Последний куплет имеет особый подтекст. Несколькоими неделями раньше одна из сестер Римских-Корсаковых – Наталья Александровна стала женой Федора Владимировича Акинфова, живой легенды едва отшумевшей Отечественной войны. И, кстати, это первая родственная ниточка, связавшая дом на площади Тверских ворот с Грибоедовым: Федор Владимирович был его кузеном по матери.

Офицер лейб-гвардии гусарского полка, он получает от командования приказ любой ценой задержать вступление частей Мюрата в Москву и с горсткой храбрецов выполняет приказ. В результате русская армия спокойно оставляет старую столицу, успев забрать и все вооружение, и всех раненых. Георгий с золотой саблей увенчал подвиг Федора Акинфова, с 1817 года ставшего командиром Переяславского конно-егерского полка. Потом была русско-турецкая война, принесшая Акинфovu звание генерал-майора. В 1833 – 1836 годах он становится по выборам предводителем дворянства Владимирской губернии, с 1839-го почетным опекуном Опекунского совета. Акинфовская честность стояла выше всяких подозрений. Представить себе такого Скалозуба, женившегося на Софье, – событие, которое предрекала поэтесса Евдокия Растопчина в своем «Возвращении Чацкого»?

К тому же имя Акинфoвых звучит в Москве не один раз. Оно становится почти нарицательным для русских офицеров. Николай Владимирович, ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, отличился в трех тяжелейших сражениях. После ранения, полученного 14 июля 1814 года, он перестал владеть левой рукой и занялся помощью раненым солдатам. На свои средства

он оборудует несколько коек для солдат в палатах московской Первой градской больницы, которые становятся известными под названиями акинфовских. Семья Акинфoвых была очень близка Грибоедовым. Именно к ней обращается со всеми своими значительными затруднениями мать драматурга.

Современники утверждают, что из четырех своих сестер дядюшка Алексей Федорович держал в собственном доме портреты только трех. Вместе с «боярыней Елизаветой Федоровной» Акинфовой это были Анна Федоровна, вышедшая замуж за одного из представителей семьи Разумовских, и Александра Федоровна, супруга командира Литовского полка, в котором проходила военную службу штаб-ротмистр Надежда Александровна Дурова. Им принадлежало сельцо Захарово, вблизи Больших Вязем, впоследствии перешедшее к Марии Алексеевне Ганнибал, бабушке Пушкина. Мать Грибоедова Настасья Федоровна подобной честью не пользовалась. Брат не жаловал ее за тяжелый нрав, некрасивость и страсть к наживе. Расчетливость оборачивалась у Настасьи Федоровны откровенной скупостью, прожектерство убытками. В родовой Хмелите, куда она часто наезжала к брату, нелюбимая сестра скорее выглядела приживалкой, которой тяготились, хотя и не могли открыто отправить восвояси.

Проходит девять лет и новая ниточка протягивается из «Дома Фамусова» к Грибоедову: младший из братьев Римских-Корсаковых Сергей Александрович женился на кузине писателя. Его супругой становится дочь дядюшки Алексея Федоровича. И снова ничто не способствует разгадке. «Горе от ума» уже написано, но главное – этические нормы тех лет не допускали

переноса в литературное произведение имени реального человека, да еще в той сомнительной софьиной ситуации, которая одинаково смущала литераторов всех толков. Самый туманный намек на живую девушку навсегда бы покрыл ее несмываемым позором. Грибоедов меньше, чем кто-либо другой, мог себе нечто подобное разрешить – он, никогда не называвший женских имен в связи со своими мимолетными увлечениями, тем более сильными чувствами. Донжуанский список для него попросту немислим.

Молодая пара остается в родительском доме. Сергей Александрович одинаково не хочет расставаться ни со старшим братом, ни с матерью, и «Дом Фамусова» продолжает жить старой жизнью. По-прежнему собираются в нем все дети, по-прежнему придумывает все новые и новые развлечения для Москвы стареющая Мария Ивановна. Без малого восьмидесяти лет она сама участвует в затеянном ею в 1846 году маскараде, а годом позже и в «ярмарке», красочно описанной журналом «Северная пчела». Любимица Москвы уходит из жизни в один год со старшим сыном и – Гоголем, которого, впрочем, у себя не принимала и ценить не научилась. Семейное гнездо переходит в руки Сергея Александровича, но очень ненадолго. Поддерживать былой его быт им не по характеру да и не по карману. Через считанные годы в проданный «Дом Фамусова» переезжает Строгановское училище технического рисования. В старом особняке хватает места для всех учебных классов, и именно в это время появляется декорация последнего акта «Горя от ума» в постановке Малого театра. Думал ли художник об отголосках имени Грибоедова – главный машинист московской ка-

зенной сцены, как его тогда называли, Федор Вальц был в курсе всех литературных разговоров и новостей, – или просто увлекся красивым интерьером?

Свой долгий век младшие Римские-Корсаковы прожили в Москве, но уже в других домах. Вырастили дочь, выданную замуж за Устинова. Вырастили сына Николая, ставшего одним из действующих лиц «Войны и мира», – Л.Н. Толстой вывел его под именем Егорушки Корсунского. Сергея Александровича Римского-Корсакова не стало в 1884 году, грибоедовской кухни двумя годами позже в возрасте восьмидесяти с лишним лет. И все же «Горе от ума» их коснулось. Есть достаточно основательное предположение считать, что те самые «Левон и Боренька, отличные ребята», о которых говорит Репетилов, это Григорий и Сергей Александровичи. Григория с его громким рыкающим голосом, независимой повадкой, крутым нравом в Москве называли львом, Сергей был известен только под уменьшительным именем: Сереженька – Боренька. В воспоминаниях современников сохранился эпизод, когда в день высылки в Сибирь несправедливо осужденного Александра Алябьева Москва собралась в Большом театре, и тенор Бантышев неожиданно для дирекции исполнил написанное композитором «Прощание с соловьем»:

Не от лютыя зимы,
Соловей, несешься ты,
Не веселый край сманил,
Но злой рок тебя сгубил.
Твоя воля отнята,



Крепко клетка заперта,
Ах, прости, наш соловей,
Голосистый соловей...

«Говорят, – писал Н.И. Лорер, – что многим женщинам и знакомым ссылаемых (декабристов – авт.) сделалось дурно, и весь театр рыдал. Из кресел вышли также два человека, со слезами на глазах, на свободе они горячо обнялись и скрылись. Это были два брата (Римские-Корсаковы), из наших, но счастливо избегнувшие общей участи...»

Но легенда о доме оказалась на редкость упрямой. Его называли фамусовским и во время пребывания здесь Строгановского училища, и вплоть до 1917 года, когда в его стенах размещалась Седьмая московская мужская гимназия памяти императора Александра III. Славилась эта достаточно дорогая гимназия отличной постановкой преподавания гуманитарных наук и в частности истории. Недаром почетным ее попечителем был такой известный и серьезный историк как Леонид Михайлович Савелов. Камергер, заведующий Московским отделением Архива императорского Двора, он создал и возглавлял Историко-родословное общество, состоял председателем Общества потомков участников войны 1812 года и одним из руководителей активной действующей в Москве комиссии по устройству Музея 1812 года. Не обойти молчанием и того обстоятельства, что был Л.М. Савелов прямым потомком предпоследнего русского патриарха – ратника и государственного деятеля Иоакима Савелова, руководившего православной церковью в годы правления царевны Софьи и принявшего сторону маленького Петра.

В дружном хоре недоброжелателей Софьи Фамусовой Пушкин не составлял исключения, хотя и заключалась в его отзыве известная неясность. Он так и писал: «Софья написана неясно: то ли б... то ли московская кузина». В первом он разделял точку зрения того же Хвостова, Катенина,

А.И. Тургенева, а во втором... Означала ли московская кузина нарицательное понятие – начитавшуюся романтических повестей в духе Татьяны Лариной барышню или служила указанием на гораздо более конкретные обстоятельства. В конце концов, Пушкин не бежал подобных намеков. К тому же московских кузин у Грибоедова было две. И если не подходила к версии комедии первая, то, может быть, могла подойти вторая?

Богатая и знатная древняя московская семья – хрестоматийное определение Грибоедовых тоже нуждалось в уточнении. Грибоедовские чтения 1986 года, изданные тремя годами позже в виде сборника научных материалов к биографии писателя, первым его предком по материнской линии называют всего лишь Федора Иоакимовича Грибоедова, наиболее ранние сведения о службе которого восходят к 1632 году. Между тем первая перепись Москвы 1620 года называет его отца – «государынина сына боярского Акима Грибоедова», имевшего «у Покровских ворот, идучи в город, на леве» большой двор в длину тридцати, и в ширину двенадцати сажень. Под государыней подразумевалась мать еще неженатого Михаила Федоровича – великая старица Марфа.

Его сын Федор, писавшийся в документах чаще всего Якимовичем, располагал позже другим двором – «от Устренской сотни, по Покровке», рядом со двором стрельцкого

полуголовы Ивана Федорова сына Грибоедова, в 1671 году. В качестве подъячего Приказа Казанского дворца он посылается в 1638 году «для золотой руды». В 1646 году продолжает числиться там же как старый подъячий с поместным окладом в 300 четвертей и денежным в 30 рублей, находясь на службе в Белгороде. В июле 1648 года его назначают дьяком в приказ боярина князя Никиты Ивановича Одоевского по составлению «Уложения». В январе – октябре 1659 года Федор Грибоедов ездит с князем А.Н. Трубецким в Запорожье на выборы атамана и участвует в заключении с запорожцами договора. С января 1661 года он переводится в Приказ полковых дел, а с мая 1664 до 1670 года в Разрядный приказ. Здесь он составляет по царскому указу «Запись степеней и грней царственных», выводящую Романовых из одного корня с Рюриковичами. Первые 17 глав его труда представляли сокращенное изложение «Степенной книги» XVI века, дополненных изложением царствования Федора Иоанновича и последующих царственных правителей вплоть до 1667 года. Числился Федор Якимович Грибоедов в 1670 – 1673 годах дьяком Приказа Казанского дворца.

С именем дьяка Федора Грибоедова связано еще одно совершенно необычное событие. В 1857 году в селе Рогожа Осташковского уезда под церковью было раскрыто его погребение с женой Евдокией и дочерью Стефанидой, точнее «нетленное тело», одетое в серый камзол, которое участниками заседания Тверской Археологической комиссии было определено как принадлежащее «именно Ф. Грибоедову, а не кому иному» и предано земле.

Материалы о последующих потомках того же рода были изучены

М.И. Семевским на основании семейного архива Хмелиты и опубликованы годом раньше в «Москвитянине». М.И. Семевский называет Михаила Ефимовича Грибоедова, награжденного Михаилом Романовым, а в конце XVII столетия Тимофея Ивановича, который в 1704 году был воеводой в Дорогобуже, в 1713-м назван майором и назначен комендантом в Вязьму – город, связь с которым будет сохраняться вплоть до отца писателя. 1718 год положил конец успешной карьере Тимофея Ивановича. Поставленная им по договору с Адмиралтейством пеня оказалась плохой. В данную ему отсрочку для возвращения в казну полученных денег Грибоедов не уложился, в результате чего все принадлежавшие ему деревни были реквизированы, а сам он умер «от досады». В связи с этими событиями представляется трудно объяснимой та «роскошная жизнь», которую якобы будет вести в Хмелите его сын Алексей Тимофеевич, прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка, скончавшийся в 1747 году, и там же похороненный в 1780-х годах внук бригадир Федор Алексеевич. К каким бы средствам ни прибегали Грибоедовы, добиться восстановления былого состояния, тем более положения при дворе они не смогли. И если единственный сын бригадира мог достаточно широко жить в семейном смоленском гнезде, собственного дома в Москве он не имел, а главное его сестрам досталось очень скромное приданое. Никакого значительного состояния не принесли Алексею Федоровичу и два его брака, другое дело – знатность и связи.

Первая супруга дядюшки – княжна Александра Сергеевна Одоевская. Сведениям о ней исследователи не придавали значения – слишком короткой оказалась ее семейная жизнь. Судя по данным Донского монастыря, где Александра Сергеевна похоронена, она вышла замуж 3 апреля 1790 года и скончалась 28 июля 1791 года оставив дочь Елизавету. И это через старшую свою кузину у Грибоедова завязываются связи с его любимым другом будущим декабристом Александром Ивановичем Одоевским и литератором, поэтом, последним в этом княжеском роду Владимиром Федоровичем. Оба они приходились двоюродными братьями Елизавете Алексеевне. С Владимиром Одоевским и кузину Елизавету, и самого Грибоедова роднило к тому же увлечение музыкой. Елизавета Алексеевна Грибоедова, по утверждению современников, была выдающейся виолончелисткой. Ее выступления в доме отца собирали всю музыкальную Москву.

Все родственные связи Александры Сергеевны Одоевской, которые унаследует ее дочь, – яркие страницы русской истории. Бабка княжны по отцу Прасковья Ивановна Толстая представляет прямую линию Льва Толстого. Она внучка того самого графа Петра Андреевича, который сумел обманом вернуть в Россию царевича Алексея и кончил свои дни в жестокой ссылке в Соловках с лишением титула.

Дядя Александры Сергеевны – Николай женат на внучке

А.Д. Меншикова, представительнице последней грузинской царствующей семьи княжне Елизавете Александровне Грузинской, племянница которой Анна Егоровна Толстая даст последний приют Н.В. Гоголю. Это в ее особняке на Никитском

бульваре Москвы Гоголь проведет последние четыре года своей жизни.

Через тетку Наталью, ставшей женой графа Александра Федоровича Апраксина княжна породнится с семьей, из которой вышла царица Марфа Матвеевна, вторая жена старшего брата Петра I Федора Алексеевича. Тетке Наталье принадлежал в Петербурге известный участок так называемого Апраксина двора, одного из торговых центров столицы на Неве.

Но едва ли не самой большой знаменитостью был муж тетки Варвары князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой, племянник П.А. Румянцева-Задунайского и Хераскова, прямой родственник жены просветителя

Н.И. Новикова – Анны Егоровны Римской-Корсаковой, жены президента Академии художеств графа А.С. Строганова и самого Ивана Ивановича Бецкого, в котором народная молва хотела видеть родного отца Екатерины II. Дочь Трубецких Екатерина Дмитриевна, двоюродная сестра Елизаветы Грибоедовой, была родной бабкой Л.Н. Толстого. Как говорил Чацкий, «и с помощью сестриц со всей Европой породнятся». Так или иначе это был круг людей, которых доводилось либо встречать в дядюшкином доме, либо, по крайней мере, достаточно хорошо знать.

Вторая жена появляется в доме дядюшки, когда Елизавете всего пять лет. Анастасия Семеновна Нарышкина на десять лет моложе своей предшественницы и далеко уступает ей по родственным связям. Ее дед не пошел дальше должности новгородского генерал-губернатора и был женат на представительнице обедневшего княжеского рода Сонцовых-Засекиных.

Правда, все три их сына оказываются в литературном окружении Екатерины II, они участвуют в сочинении ее трудов, занимаются переводами из «Энциклопедии», выступают с собственными сочинениями. Сыграла свою роль и близость Алексея Васильевича к графу Григорию Орлову, генерал-адъютантом которого он был. Кстати сказать, и Алексей и отец А.С. Грибоедов Семен упоминаются Н.И. Новиковым в Словаре российских литераторов. Семена Васильевича Грибоедов еще застаёт в живых – он умер в 1807 году.

Второй брак Алексея Федоровича сложился далеко не слишком удачно. Первенец супругов Федор родился на следующий год после свадьбы, 10 октября 1797 года, но умер, не достигнув и трех лет, 18 июня 1800 года. Его пагодок Семен прожил с 28 марта 1798 по 7 декабря 1801-го. Единственная оставшаяся в живых дочь Софья родилась в 1806 году. Сама же Анастасия Семеновна намного пережила супруга и ушла из жизни в 1860 году. Судя по тому, что Грибоедов никогда не упоминал ее имени, отношения с семьей дядюшки были непростыми. Симпатии Грибоедова были на стороне старшей кузины, с которой он поддерживал дружбу и после ее брака с Иваном Паскевичем-Эриванским. И неизбежный вопрос – которая же из двух сестер, даже чисто теоретически, могла иметь сходство с дочерью Фамусова? Наконец, как быть с Фамусовым-дядюшкой, который после военной службы не пошел на службу гражданскую, всякую карьеру глубоко презирал да еще бесконечно возился с кредиторами, не умея навести порядка в денежных делах.

Роскошная вольготная жизнь богатейшего московского барина, каким предстает хрестоматийный дядюшка, в действи-

тельности представляет настоящий ад. Хранящееся в ИРЛИ «Дело о взыскании кредиторами денег» с Алексея Федоровича Грибоедова содержит имена семи кредиторов, которые вынуждены были искать управы на злостного неплательщика у властей. Судя по их свидетельствам, А.Ф. Грибоедов одалживал деньги год за годом – в 1810, 1811, 1812 и последующих годах, а затем скрывался. Алексея Федоровича специально разыскивали, с него брали подписку о невыезде до уплаты долга. И только с великим трудом собрав часть необходимых средств, он может выехать из поместья, причем предпочитает Москве Петербург. Материальные мытарства продолжают для него до самой смерти, наступившей в 1833 году. Неудивительно, что наследовавшая Хмелиту кузина Елизавета Алексеевна графиня Паскевич-Эриванская, носившая еще и титул княгини Варшавской, нашла усадьбу в запущенном состоянии. Такой же увидел Хмелиту в начале пятидесятых годов

М.И. Семевский. Даже простым ремонтом здесь не занимался никто. Единственный сын и наследник княгини князь Федор Иванович Варшавский князь Паскевич-Эриванский предпочел сразу же передарить Хмелиту своим замужним сестрам княгиням Волконской и Лобановой-Ростовской, а те, в свою очередь, продать поместье сычевскому I гильдии купцу Сипягину. Наследников не остановили ни семейные родовые могилы, в том числе второго сына Паскевичей – Михаила, ни внесенные в церковь фамильные ценности. Это было откровенным бегством от непомерных затрат. Сын последнего владельца поместья напишет в 1894 году: «Дом был в ужасном состоянии, никто не жил в нем уже много лет. Все было запущено, север-

ный флигель снесен, верхний этаж южного разрушен. В зале на полу сушилось зерно, из скважин паркета росла рожь...»

Оправдывая восторженность Чацкого в момент его первого появления в доме Фамусова, Андрей Жандр писал, что «поэзия свидания с Софьей должна быть и есть от любви Чацкого, от долгого пребывания его за границей, от воспоминаний детства, от сатирической закалки и от холодности Софьиной». Воспоминания детства – если все-таки вернуться к версии «московской кухни», то с какой из двух сестер Грибоедовых они могли связывать писателя. Ведь какие-то черты натуры, события должны были хотя бы легкой тенью лечь на канву пьесы. Для ответа нужен возраст Грибоедова, но – по сей день год его рождения остается неизвестным. Впрочем, правильнее сказать: а что вообще документально известно о ранних годах и самом происхождении писателя.

Нет документов о рождении и крещении. О месте рождения. О годе рождения матери, о факте брака родителей, о происхождении, рождении, месте и обстоятельствах смерти отца. Среди многочисленных и одинаково необоснованных вариантов, выдвигавшихся исследователями, существует даже рождение писателя до брака родителей, от матери-девицы. И как своеобразная почва для сомнений – полное безразличие Грибоедова к собственному происхождению, к истории семьи, к предкам. Ничего подобного пушкинской «Моей родословной» он писать не пытался, а отдельными показаниями вносил совершенно безнадлежащую сумятицу в атмосферу окутывавших его легенд.

Казалось бы, как можно оспаривать дату на надгробном камне? Вдова долго и обстоятельно переписывается с матерью

мужа и его сестрой, прежде чем написать год рождения – 1795. Ближайший друг Грибоедова Степан Бегичев в 1834 году выражает против приведенной в Словаре Плюшара биографической статьи, где назван 1793 год. В биографической записке, написанной двадцать лет спустя, он снова повторяет: Грибоедов родился в 1795 году. О том же свидетельствуют исповедные книги московской церкви Девяти мучеников, в приходе которой находился семейный грибоедовский дом: в 1805 году Грибоедову 10 лет, в 1807 – двенадцать, в 1810 – пятнадцать. Наконец, 1795 год стоит и в первом по времени из известных исследователям формулярных списков писателя.

Правда, в «Списке о службе и достоинстве штаб и обер-офицеров Иркутского полка», который подавался ежегодно 1 января и 1 июля, Грибоедов оказывается на год старше. В обоих рапортах за 1814 год он числится двадцатилетним, в январе 1815-го проставлен 21 год, а в паспорте, который Грибоедов получает при выходе с военной службы в 1816 году, ему 22 года. Очень многие биографы прошлого века остановятся именно на этой дате. Зато сам Грибоедов, сняв военный мундир и поступив в Персидскую миссию, неожиданно увеличивает свой возраст на целых пять лет. В 1818 году он заявляет, что ему 28 лет, в 1819 – двадцать девять, 1820 – тридцать, а перед смертью – тридцать девять. На следствии о принадлежности к тайным обществам после событий на Сенатской площади утверждает, что родился в 1790 году. Правда – где же она была?

На этот раз началом всему послужили поиски Н.П. Розанова. Небольшая заметка в десятом номере «Русской старины» за 1874 год, что за период 1790 – 1796 годов в метрических кни-



гах московских церквей найти записи о рождении и крещении А.С. Грибоедова не удалось. Всех московских церквей! И первый сигнал опасности – подобным утверждением никогда не воспользуется ученый архивист: слишком сложны пути формирования и судьбы архивных фондов. Тем более приходских – переживших или не переживших пожар 1812 года. Церкви в гораздо большей степени пострадали от мародеров, чем от огня. Восстанавливая храмы, консистория составляла переписные листы потерь, в которые почти всегда входили частично или полностью утраченные архивы. Этому посвящались специальные труды, вроде «Исторических сведений о московских церквях, выбранные из протоколов хранящихся в Московской Духовной консистории» иеромонаха Даниила.

У розановской методики свои особенности. Питомец московской семинарии, дьякон Николай Розанов ученым архивистом не был, зато мог пользоваться недоступными для непосвященных материалами московской консистории. Отсюда две основные его работы – по истории Московского епархиального управления, затем монографии московских церквей и, как исключение, заметки об обстоятельствах рождения Лермонтова и Грибоедова. Он спешит с выводами, не исчерпав возможного круга материалов, за каждой написанной буквой готов видеть факт, не нуждающийся в дополнительной проверке и доказательствах. И первый пример – основание для предположения о «незаконном» рождении Грибоедова.

Розанов указывает, что «записей о браке родителей А.С. Грибоедова в метрических книгах московских церквей не оказалось», но разве не могло венчание состояться вне Моск-

вы? Единственной существенной розановской находкой было упоминание в исповедных росписях церкви Николы на Песках за 1790 год имени девицы Н.Ф. Грибоедовой, проживавшей в доме родителей и имевшей от роду 22 года. И снова поспешный вывод: раз в течение 1790 – 1796 годов в московских церквях нет свидетельства о рождении А.С. Грибоедова, значит, оно приходилось на время девичества его матери. Но что дает основание предполагать, что родился Грибоедов именно в Москве? Впрочем, сначала слово документам.

В течение 1790 года Настасья Федоровна Грибоедова живет в родительском доме на Арбате, в приходе Николы на Песках, иначе – в нынешнем Большом Николопесковском переулке (улице Вахтангова). Само по себе выражение родительский дом заставляет считать, что жила Настасья Федоровна с матерью, так как ее отец считается погребенным в Хмелите в 1780-х годах. Выйдя замуж за своего однофамильца, она снимает квартиру в соседнем приходе – Спаса Преображения на Песках, то есть на нынешней Спасопесковской площади. В метрической книге этой церкви за 1792 год есть запись: «В доме Федора Михайловича Вельяминова, что стояща его отставного секунд-майора Сергей Ивановича Грибоедова, родилась дочь Мария, крещена июля 4 дня, восприемником был бригадир Николай Яковлевич Гиньков, восприемница была надворного советника Ивана Никифоровича Грибоедова, жена его Прасковья Васильевна». Тем самым крестными родителями сестры Грибоедова стали муж ее родной тетки по матери – Елизаветы Федоровны Гиньковой, и бабка по отцу. Отсюда вывод, что поженились родители Грибоедова не позже

осени 1791 года, причем Мария Сергеевна всегда считалась старшей сестрой Александра Сергеевича.

Средств на собственный дом у молодой четы не было, так что Грибоедовы постоянно меняли квартиры, как примерно в те же годы и родители Пушкина. По крайней мере, в конце 1794 года они оказываются на Остоженке, в приходе церкви Успения, где в метрической книге остается запись: «Генваря 13 в доме девицы Прасковьи Ивановны Шушириной у живущего в ее доме секунд-майора Сергея Ивановича Грибоедова родился сын Павел, крещен сего месяца 18 дня. Восприемником был генерал-майор Николай Яковлевич Тиньков». Казалось бы, этот документ полностью исключает рождение Александра Сергеевича именно в 1795 году. Но запись сама по себе вызывает слишком много сомнений. Здесь и отсутствие обязательного во всех случаях имени восприемницы – согласно семейным преданиям, ею стала, как и для Марии Сергеевны, родная бабка. Здесь и возможная ошибка в имени, если не двойное имя, что также не было редкостью в эти годы. Скорее всего крещение происходило дома и к тому же второпях: девица Шуширина под предлогом перестройки своих владений поспешила избавиться от неустраивавших ее почему-то квартирантов.

Но если метрическая запись церкви Успения на Остоженке подлежит дальнейшему анализу, гораздо более существенен для определения возраста Грибоедова другой документ. 19 июня 1799 года во Владимирской палате Гражданского суда рассматривалось прошение Александра Грибоедова «малолетнего сына секунд-майора Сергея Грибоедова», в котором говорилось «... бабка моя родная надворная советница Прасковья

Васильевна Грибоедова, продала мне крепостное недвижимое свое имение, доставшееся ей в наследство после покойного родителя ее, капитана Василья Григорьевича Кочугова, состоящее во Владимирской губернии Покровской округе в сельце Сушневе усадебную, гуменную, полевую, пашенную и непашенную землю с лесами и санными покосами, с принадлежащими к оному сельцу отхожими пустошьями и пашенными угодьями... Вместо малолетнего Александра Сергеевича сына Грибоедова, за неумением его грамоте и писать, по просьбе его, коллежский советник Михаил Степанов сын Бенедиктов руку приложил». Родившись в 1790 году и имея от роду девять лет, Грибоедов безусловно умел и читать и писать – таковы условия времени. Неграмотность же его свидетельствует о том, что ему в 1799 году было около четырех лет. Кстати, впервые в своей жизни автор «Горя от ума» становился помещиком, владельцем недвижимости, которая оценивалась всего навсего в тысячу рублей.

Общее детство, общие воспоминания, о которых пишет А.А. Жандр, – их не могло быть у Грибоедова ни с одной из московских кузин. Елизавета старше него на пять лет – слишком большая разница для детских лет. Тем более нечего говорить о Софье Алексеевне, которая моложе на целых одиннадцать. Жандр имел в виду кого-то другого. Мимо одного имени исследователи почему-то прошли. Варенька Лачинова – рядом с ней проходят ранние годы Грибоедова.

Настасья Федоровна Грибоедова не москвичка по родственным связям и привязанностям. Вместе с мужем они много времени проводят на Владимирщине. Здесь живет ее самая близкая подруга Наталья Федоровна Грибоедова, ставшая же-

ной отставного поручика Семена Михайловича Лачинова. Их дочь Настасья Федоровна забирает к себе в Москву, как только обзаводится собственным домом. В свою очередь, Грибоедов, оказавшись в 1812 году с полком во Владимире, отправляется в лачиновскую усадьбу – село Сущево, где долгое время как память о его пребывании сохранялась так называемая Грибоедовская беседка – пригодный для жилья небольшой рубленый домик. Здесь существовал настоящий культ писателя. Сын Вареньки, вышедшей замуж за некоего Смирнова, Д.А. Смирнов станет первым биографом Грибоедова. Его правнучка Е.М. Суздальцева сохранит семейные предания о жизни Александра Сергеевича в Сущеве.

Время, предшествовавшее вступлению в армию, оказалось далеко не благополучным для Грибоедова. В свои семнадцать лет он переживает сильную подавленность, не находит душевного равновесия. В Сущево его приводит надежда на большее спокойствие и домашнее тепло, которых в родном доме всегда не хватало. И в самом деле, по воспоминаниям

Е.М. Суздальцевой, «когда больной Грибоедов приехал в Сущево, кто-то из дворовых людей привел к нему деревенскую знахарку Пухову, которая взялась его вылечить. Она лечила его настоями и травами, добрым взглядом и добрым словом. Грибоедов кроме сильной простуды страдал еще нервной бессонницей, и эта удивительной доброты женщина проводила с ним в разговорах целые ночи. Уезжая из Сущева, Александр Грибоедов хотел с ней расплатиться, но она ответила, что брать деньги за лечение – грех. Если она их возьмет, то ее лечение ему не поможет».

Нет, ни первой любви, ни простой мимолетной увлеченности со стороны Грибоедова здесь не было. Но симпатией, почти родственной расположенностью он несомненно дарил скромную Вареньку. И не отношением ли к ней согреты слова Чацкого:

В семнадцать лет вы расцвели прелестно,
Неподражаемо, и это вам известно; и потому скромны,
Не смотрите на свет.
Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ...
Без думы, полноте смущаться.

И этот любопытствующий вопрос совсем непохож на те поиски разгадки чувства Софьи, которые так мучительны для влюбленного. Два отношения словно две разных женщины, – заметит игравший блестяще главного героя «Горя» Александр Иванович Южин. Разница невольно бросается в глаза каждому актеру: такой оттенок необходимо оправдать, но как после страстного вступительного монолога, да еще в снисходительно-покровительственном тоне, вообще невозможном в общении Чацкого с Софьей.

Для Чацкого важны не только сомнения в ответном чувстве Софьи. Их роман, если бы он и сложился, может иметь единственное завершение – брак. Брак, который, кстати сказать, исключает всякое увлечение двоюродными сестрами – по канонам православной церкви он просто невозможен. Брак, который предполагает согласие родителей и непрременную материальную основу. Если бы речь шла о Вареньке Лачиновой, все выглядело бы просто. Дружившие между собой родители, оди-

наковое, хоть и очень незначительное состояние. Настасья Федоровна могла втайне надеяться на лучшую партию для сына, но общая среда вполне достаточное основание для согласия. Иное дело – Фамусов.

Чацкий осторожно справляется о возможном сватовстве и сам понимает неизбежность отказа. Для отца Софьи все просто:

Вот, например: у нас уж изстари ведется,
Что по отце и сыну несть;
Будь плохонький, да если наберется
Душ тысячки две родовых,
Тот и жених.

Такого состояния Грибоедов никогда не имел. Легенды о богатстве матери, об их открытом всей Москве доме... Но ведь можно попытаться начать именно с дома.

Доска красного гранита. Бронзовый барельеф. Надпись:

«А.С. Грибоедов» – без дат и пояснений: родился, жил, хотя бы работал. Главным оказалось имя скульптора. Того самого, который ввел в советский обиход гигантские монументы двух вождей. От зала в Большом Кремлевском дворце до начала печально знаменитого гулаговского канала Москва-Волга. Подробности о Грибоедове можно скорее найти в путеводителях. Дом на углу Девятинского переулка и Новинского бульвара не обошел вниманием никто.

1914. «По Москве». – «Дом Ускова, в котором провел свои детские и юношеские годы А.С. Грибоедов».

1952. П.В. Сытин. Из истории московских улиц. – «У майорши Н.Ф. Грибоедовой в 1795 году родился сын... кото-

рый провел здесь свое детство».

1959. Б.С. Земенков. Памятные места Москвы. – «Детство и юность его прошли в доме его матери... (перестроен)».

1964. И. Мячин. Москва. «Провел свои детские и юношеские годы. В 1812 году дом сгорел, но потом был восстановлен. Впоследствии писатель бывал здесь много раз».

1973. Русские писатели в Москве. Составитель Л.П. Быковцева. Научные консультанты доктор филологических наук У.А. Гуральник, старший библиограф Научной библиотеки МГУ В.В. Сорокин. – «Родился в Москве... в старинном особняке, в семье матери своей Настасьи Федоровны Грибоедовой прошли безмятежные детские годы... Родители рано расстались... (Мать) жить в деревне не пожелала. Мужа определила управлять имениями, а сама с детьми, сыном и дочерью, Марией, поселилась в своей городской усадьбе в Новинском».

1984. От Кремля до Садовых. – «Здание полностью отреставрировано... Письменных сведений о том, что Грибоедов родился в этом доме нет. Документальная запись о его рождении не обнаружена».

Полностью отреставрирован – в понятиях наших дней означает снесен и заново, от фундамента, построен. По обмерам. Главное – в другом материале: вместо дерева в камне. С множеством поправок, насколько они показались нужными и правильными относительно стиля тех лет реставраторам.

Итак, состояние Грибоедовых, но и семейные отношения. Прежде всего безликий и безгласный отец, который безоговорочно и безропотно подчинялся деспотизму избалованной, по-

видимому, богатством матери. Вот только документы рисуют совсем иную картину.

Отцовская ветвь Грибоедовых не уступает материнской по древности, да и по служебным заслугам. «Дело Владимирского дворянского депутатского собрания по внесению в дворянскую родословную книгу Владимирской губернии рода Грибоедовых», начатое в 1792 году, претендует на внесение семьи писателя в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии. Иначе говоря, речь идет о получении дворянства до 1685 года, хотя документально подтвердить этого факта Грибоедовы не могли. Прямые предки писателя в XVII столетии: Семен Лукьянович – Леонтий Семенович – отставной капитан Никифор Леонтьевич – надворный советник Иван Никифорович – отец писателя секунд-майор Сергей Иванович, имевший единственного старшего брата Никифора Ивановича (1759 – 1806) и сестру Катерину Ивановну, вышедшую замуж за помещика Ефима Ивановича Палицына.

Послужной список деда Грибоедова достаточно велик. Иван Никифорович родился в 1721 году и шестнадцати лет поступил солдатом в лейб-гвардии Преображенский полк. Через пять лет он был произведен в капралы и доблестно участвовал в битвах со шведами при взятии Гельсингфорса и Фридрихсгама. В 1747 году он получает чин фурьера, на следующий год капитанармуса и еще годом позже сержанта. В сентябре 1755 года он выпускается капитаном в армейский Сибирский гренадерский полк, а в 1758 году уходит в отставку с производством в следующий чин – секунд-майора. Тем не менее от службы Иван Никифорович не отказывается. В год отставки он определяется

к Подушному двору в Переславль-Залесский и почти сразу переводится в Арзамас. Но, по-видимому, самым важным стало для Ивана Никифоровича назначение в родной Владимир «воеводским товарищем с награждением чином коллежского советника». Когда в 1779 году будет открыта Владимирская губерния, именно он станет председателем губернского магистрата. И это при том, что никакого особенного состояния у И.Н. Грибоедова не было. В 1780 году принадлежало ему всего-навсего во Владимирской губернии в Покровской округе сельцо Федорково, Митрофаниха тоже, и во Владимирской округе в сельце Сущеве и деревне Назарове в общей сложности «восемьдесят восемь душ мужеска пола». С теми же небогатыми владениями он выходит на следующий год в отставку, получив в награду за беспорочную службу чин надворного советника. Помимо Владимирских поместий, располагал Иван Никифорович и собственным домом в Москве, в приходе Николы в Хамовниках, и характерно, что имущества своего между сыновьями не делил.

Служба старшего сына И.Н. Грибоедова – Никифора Ивановича явно не сложилась. Начал он ее в 1773 году в конной гвардии, но уже через семь лет вышел в отставку, причем владимирское дворянство избрало его заседателем Владимирского уездного суда. С этими обязанностями Никифор Иванович справлялся всего четыре года, поспешил выйти в отставку, причем был произведен в титулярные советники.

Отец драматурга родился в 1761 году и четырнадцати лет вступил в военную службу кадетом Смоленского драгунского полка и вскоре был «из одного взят в штат к его сиятельству гос-

подину генералу-поручику и разных орденов кавалеру князю Юрию Никитичу Трубецкому, где находился при нем в Крыму капитаном в Кинбурнском драгунском полку». Десятилетняя военная служба, о которой сам Сергей Иванович говорил, что «в походах был, в штрафах не бывал», закончилась отставкой по болезни с присвоением очередного воинского чина – секунд-майора 16 октября 1785 года. За отсутствием собственного имения Сергей Иванович селится у отца в Федорково. Последовавшая женитьба на Настасье Федоровне была выгодной партией для С.И. Грибоедова, поскольку невеста после скончавшегося в 1786 году отца имела в разных губерниях «192 души мужеска пола» и еще 208 душ получила от матери в приданое. Эти средства позволяют ей купить после свадьбы, в 1794 году, село Тимирево, Введенское тож за 9. 000 рублей.

Однако очень скоро с трудом сложившееся семейное состояние уходит как вода в песок. К 1798 году за Настасьей Федоровной числится не более 60 душ крепостных – результат ее не слишком удачных спекулятивных предприятий. Сергей Иванович не был повинен в потерях, хотя в прошлом за ним и установилась слава карточного игрока. Известно, что осенью 1782 года временно освобожденный от военной службы Сергей Иванович приезжает во Владимир и попадает в компанию местных игроков и «мотов», как называли их современные документы. Все вместе они обыгрывают на 14 тысяч рублей несовершеннолетнего дворянина Николая Артамоновича Волкова. Это было полное разорение Волкова, если бы в дело не вступился его опекун прокурор Сушков. В результате поступившей к генерал-губернатору Владимирской и Костромской

губернии Р.Л. Воронцову жалобы игроки вынуждены были полностью вернуть пострадавшему свой выигрыш. Некий современник оставил воспоминания о том, что Сергей Иванович не расставался с картами и в 1800 году. Но все дело в том, что Настасья Федоровна вела свои дела и содержала имущество независимо от мужа. После смерти Сергея Ивановича выяснилось, что на его имении был ряд долгов, в том числе собственной жене в размере 50 тысяч рублей. В общем же родители жили достаточно дружно и, во всяком случае, не расставались. В 1796 году в связи с дворянскими выборами на Владимирщине Сергей Иванович, отговариваясь болезнями, пишет о себе, что лет ему тридцать пять и что он «женат на дворянке статского советника Федора Алексеевича Грибоедова на дочери его Настасье Федоровне, имею детей малолетних, сына Александра и дочь Марью, которые и находятся при мне».

Конец 1790-х годов оказался для супругов Грибоедовых на редкость счастливым. 7 февраля 1799 года Сергей Иванович приобретает в Судогодском уезде у помещицы Ф.Н. Барановой село Моругино на имя дочери Марии Сергеевны, а в июле родители для нее же приобретают за 400 рублей семерых дворовых, полученных от ее бабки Прасковьи Васильевны, и восемнадцать крепостных из села Сущева. Тем же летом оформляется приобретение села Сушнева за тысячу рублей на имя сына Александра. Покупки стали возможны ввиду болезни деда Ивана Никифоровича, который скорее всего решил выделить часть капитала необеспеченным своим внукам. Последовавшая в 1801 году кончина Ивана Никифоровича принесла Сергею Ивановичу «по разделу с родительницею и братом»

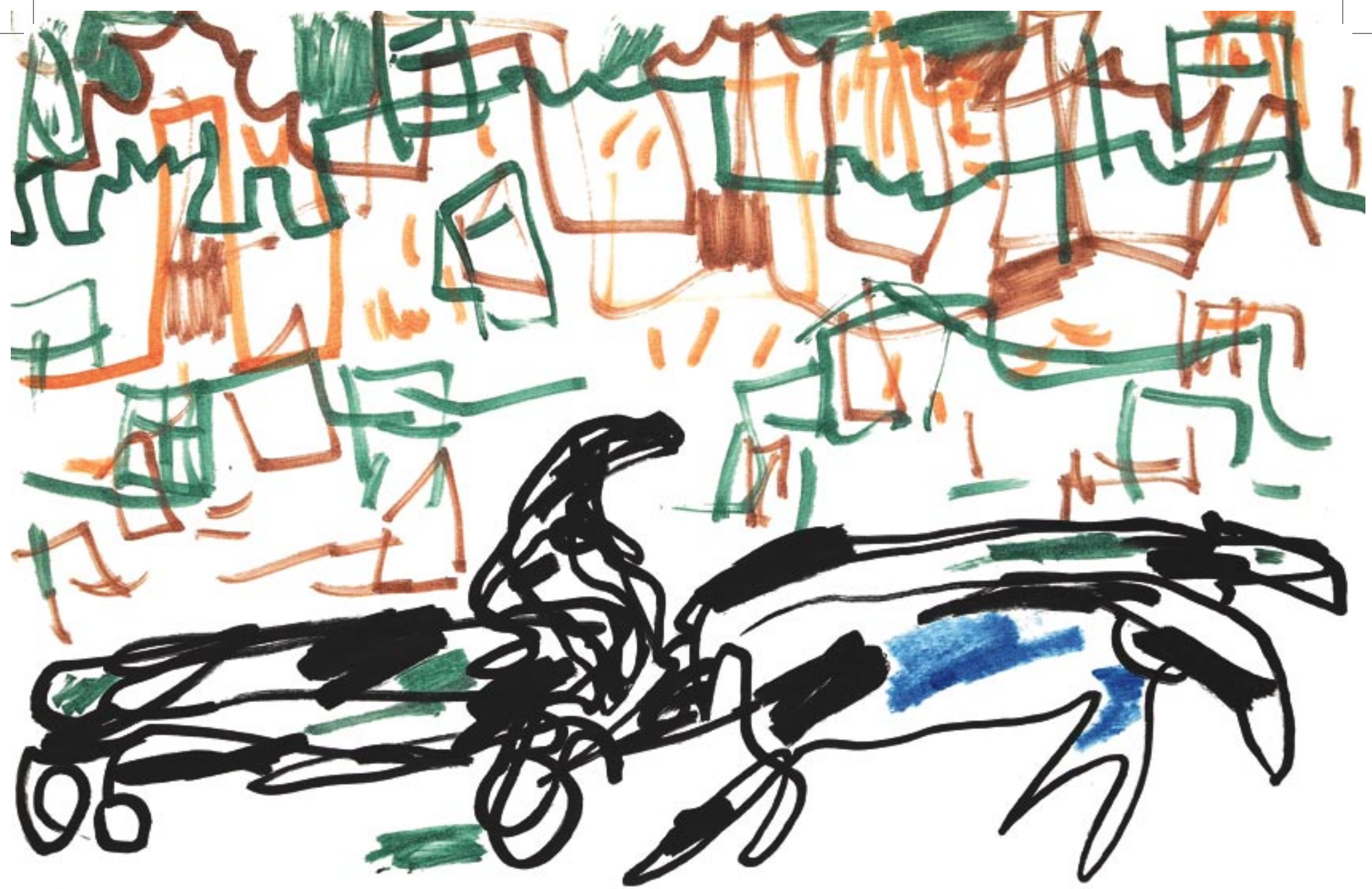
имение в селе Федоркове – 73 души и часть сельца Сущева. И снова супруги Грибоедовы остаются верны себе. Сергей Иванович через считанные месяцы продает свою часть Сущева Наталье Федоровне Лачиновой, матери Вареньки. Настасья же Федоровна откупает у майора Зверева часть имения в Федоркове, где второй частью сельца владел Сергей Иванович. Последующие хлопоты оказываются связанными с приобретением дома в Москве.

Первые шаги в этом отношении предпринимает Сергей Иванович. Отказавшись от выборных должностей из-за мнимой или действительной болезни в 1799 году, даже не приехав на выборы, он тем не менее в конце января 1800 года добивается пропуска для приезда в Москву. Причиной становятся надежды на очередное наследство.

5 июля 1799 года в своем домовладении на углу Девятинского переулка и нынешнего Новинского бульвара умерла вдова прокурора Анна Алексеевна Волынская, приходившаяся родной теткой Алексею Федоровичу Грибоедову и его сестрам, а главное – не имевшая собственных детей. Завещание Волынской принесло поначалу Грибоедовым полное разочарование. Упомянут был в нем один Алексей Федорович, получавший единственно «святые образы» тетки. Все остальное имущество – «подмосковное село Мартемьяново и в Пресненской части Москвы благоприобретенный дом со всем строением, садом, мебелью и в нем имуществом» завещалось родне по мужу. Неизвестно на каком основании, но Алексею Федоровичу удалось опротестовать в суде волю покойной и получить, между прочим, пресненский дом, который он себе однако оставить не за-

хотел и уже в октябре 1801 года продал Настасье Федоровне. Только с этого времени и можно говорить о семейном гнезде Грибоедовых на Новинском бульваре. Но для Грибоедова детство уже подходит к концу: в 1803 году он поступает в Благородный пансион при Московском университете, а в 1806 году в самый университет.

Достичь даже временного благополучия Грибоедовым не удается. Материальные затруднения побуждают Настасью Федоровну с мужем пытаться справиться с ними за счет собственности сына. В июле 1809 года четырнадцатилетний – «кандидат императорского Московского университета Александр Сергеев сын Грибоедов» продает сельцо Сушнево и деревеньку Ючмерь полковнику К.М. Поливанову, продает в Москве, и в качестве свидетеля выступает его отец. В Москве, как и на Владимирщине супруги жили вместе. Записавшись в Московский гусарский полк 26 июля 1812 года, Грибоедов вместе с полком попадает в начале сентября во Владимир и здесь заболевает. Последующий год он проводит во Владимире в доме родителей. Грибоедовы жили в доме соборного священника Матвея Ястребова на Девической (позднее – Красномилицейской) улице. И они отчаянно боролись за то, чтобы противостоять материальным невзгодам. Отдавая своих крепостных в ополчение, они не предоставляют им положенной амуниции, уступают в другие полки, самое жестокое – продают на вывоз. В 1813 году, например, были проданы в Вологду генералу Цорну из деревни Федорково, Митрофану тож, дворовые Григорий Филиппов 35 лет и Степан Андреев 41 года с двенадцатилетним сыном. Совершенно так же поставлял своих крестьян в ополчение для других помещи-



ков и Алексей Федорович Грибоедов, живший в то время во Владимире.

Московский пожар, уничтоживший пресненский дом, наносит очень тяжелый удар семье. К тому же в 1814 году не стало Сергея Ивановича, и дело о наследстве раскрывает полную картину грибоедовских материальных невзгод. Сергей Иванович оставил жене и детям сельцо Митрофаниху с 95 душами мужского пола и деревню Моругино с 49 душами. Но на эту недвижимость ложились непомерные долги «на 58 тысяч, как партикулярных разным лицам, так и казенных, а именно ей, Настасье, по распискам, взятым у нее на сохранение, – 50 тысяч рублей, да по заемным письмам: статскому советнику Николаю Яковлевичу Тинькову – тысяча пятьсот рублей, Настасье Федоровне Басаргиной – тысяча, московскому купцу Василью Федорову – пятьсот и московскому опекунскому совету под залог одного имения – пять тысяч триста».

Выход, который находит Настасья Федоровна, полностью освобождает ее от долгов, сына же – от всякого наследства. Как свидетельствовал документ, «они – Настасья и Александр – вышеописанных долгов, равно и следуемого имения, принять не желают и определяют все оставшееся имение девице Марье Грибоедовой в вечное и потомственное владение и обязуются как за себя, так и за наследников своих, о возврате того имения, Марью впредь никогда не просить, с тем однако ж, чтоб и все оставшиеся долги, платить ей, Марье, не привлекая их ни под каким предлогом». Мать и дочь находились в это время в пресненском доме, Александр Сергеевич в Петербурге, откуда он приехать не захотел. Его доверенным лицом выступает Иван

Михайлович Левашов: «Доверенность писана и засвидетельствована в Санкт-Петербургской палате гражданского суда июня 30 минувшего (1815) года, которой он, корнет Александр Грибоедов, на добровольном имении покойного родителя его вышереченного секунд-майора Сергея Грибоедова, разделе с родительницею его, уполномачивает его, Левашева». С чем бы это ни было связано, но в последующие свои приезды в Москву останавливаться в пресненском вновь отстроенном доме Грибоедов уже не хотел.

Он не принимает участия и в последующих делах матери, которая не останавливается в своих земельных спекуляциях. После оформления отказа от наследства, но и долгов, покойного мужа Настасья Федоровна начинает заниматься вновь приобретенным имением в Костромской губернии. Она в четыре раза увеличивает оброк, чем вызывает бурное возмущение крестьян. Правда, в назначенном разбирательстве дворяне принимают ее сторону, но Александр I, до которого доходит дело о крестьянском бунте, отдает имение Настасьи Федоровны под опеку шести помещиков, впрочем, согласившихся с требованиями владелицы. Отказ крестьян платить оброк приводит к тому, что по просьбе Настасьи Федоровны в ее имение присылается команда сначала из ста девяноста, а затем и трехсот человек. На помощь Грибоедовой приходит подполковник Илья Огарев, женатый на ее племяннице. Он грозит не просто прибегнуть к насилию, но вообще разрушить крестьянские избы. В конце концов, в руках крестьян появляется оружие, и единственным выходом для администрации становится перемена владелицы имения. Настасью Федоровну принуждают отказаться от свое-

го приобретения и перепродать имение княжне Долгоруковой, которая находит со своими крепостными общий язык. И это еще одна из причин, заставляющая Грибоедова избегать материнского дома.

Среда, в которую попадает Грибоедов в Московском университете, не принимает, не может принять жизненных принципов Настасьи Федоровны. Но в ранние годы эти принципы не проявляются так явно. Среди самых близких Грибоедову товарищей по занятиям братья Чаадаевы, Иван Якушкин и, конечно же, объединявший их всех князь Иван Дмитриевич Щербатов. Ни возраст, ни совместно проведенные годы не сокращают расстояния, которое существовало между ним и Грибоедовым. Они обращаются друг к другу на ты, со всеми обязательными оборотами принятого этикета. Именно Ивану Щербатову адресована самая ранняя из сохранившихся записок писателя, более того – самый ранний из сохранившихся его текстов, единственный из довоенных лет, написанный, кстати сказать, по-французски:

«Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия присутствовать на Вашем собрании, тому причина мое недомогание. Рассчитываю на Вашу любезность, надеюсь, что Вы доставите мне удовольствие отужинать у нас сегодня вечером. Вы меня обяжете, согласившись на мое приглашение, так же, как Ваши кузены Чаадаевы, члены собрания и т.д., г. Буринский, который, конечно, доставит мне удовольствие своим присутствием. Преданный Вам Александр Грибоедов».

В письме есть подробность, позволяющая достаточно точно его датировать. Магистр философии Захарий Буринский,

друг губернатора Грибоедова И.Б. Петрозилууса, скончался в июне 1808 года, в том самом месяце, когда Грибоедов был возведен в кандидатское достоинство. Где-то непосредственно перед этим событием и состоялся званый ужин.

Узкий круг «Собрания князя Щербатова», в который входил Грибоедов, постоянно собирался в щербатовском доме тем более, что рано осиротевшие братья Чаадаевы находились под опекой старого князя Дмитрия Михайловича Щербатова, родного брата их матери. Сын знаменитого историка, автора труда «О повреждении нравов в России» Михаила Михайловича Щербатова, князь Дмитрий отличался консервативностью взглядов. Споры с молодежью вспыхивают здесь постоянно, и не их ли отзвук угадывается в разговоре Чацкого с Фамусовым? У князя есть сестра, старая дева Анна Михайловна, которая чуть ни каждый день «тащится» к нему с Покровки, как графиня Хлестова, и так же окружена москвичками и приживалками. Есть даже письмоводитель, знаменитый своей услужливостью, предупредительностью, умением угодить, который успешно «служит по архивам» под начальством князя. Незамешанный в действительности ни в каких сомнительных историях, он в дальнейшем высоко поднимается по служебной лестнице и становится известным в Москве лицом. Есть у князя и две дочери: добрейшая романтическая Елизавета Дмитриевна, которой решается посвятить одно из своих посланий З. Буринский, и Наталья Дмитриевна, но о княжне Наталье разговор особый. Бесстрашная наездница, волевая, властная, остроумная, интересовавшаяся политикой несколько не меньше брата, она одинаково хороша и недоступна. Московские слухи утверждали,

что это из-за нее кузен Петр Чаадаев отказался от семьи и личной жизни. В нее безнадежно влюблен Иван Якушкин. Перед ней благоговеет Кюхельбекер. Черты всех трех поклонников княжны Натальи вошли в образ Чацкого. В Чацком нетрудно угадать и самого Грибоедова, а что если Грибоедов во всем разделил вкусы и увлечения друзей. Так могло быть, но было ли так в действительности?

Переписка... Но Грибоедов никогда не называл женских имен, разве Истомину и Телешову, не скрывавших своих мимолетных увлечений. Но и в отношении них неизменная почти-тельная восхищенность:

О, кто она? Любовь, Харита
Иль Пери, для страны иной
Эдем покинула родной,
Тончайшим облаком повита?
И вдруг, как ветер, ее полет
Звездой рассыплется, мгновенно
Блеснет, исчезнет, воздух вьет
Стопою свыше окрыленной...

Женщина? Нет, конечно, актриса. 8 декабря 1824, года, давно знавший балерину по сцене Грибоедов увидит Телешову в инсценировке поэмы «Руслан и Людмила». 4 января, вопреки всем своим обычаям и едва ли не единственный раз напишет Степану Бегичеву: «В три, четыре вечера Телешова меня с ума свела, и тем легче, что в первый раз и сама свыклась с тем чувством, от которого я в грешной моей жизни чернее угля выгорел». И в январском же номере «Сына Отечества» восторжен-

ные строки стихов увидят свет. Раньше так близкого к ним описания танца Истоминой в I главе «Евгения Онегина».

«Собрания» Ивана Щербатова прерываются вместе с его отъездом в марте 1811 года в Петербург для поступления в Семеновский полк. Волей-неволей посещения дома Щербатовых становились более редкими. Запись в Московский гусарский полк и вовсе положит им конец. Но до поступления в армию Грибоедова было лето 1812 года, когда он вместе с друзьями по университету часто навещает нового знакомого – барона Штейна. Знаменитого Штейна, объявленного Наполеоном врагом французской империи и вынужденного эмигрировать в Россию, потому что начал объединять немецкий народ для сопротивления войскам императора. И тот же Штейн утверждал необходимость уничтожения – и притом немедленного – крепостного права. Его проповедь не могла не увлечь московской молодежи. Почти каждый день Грибоедов спешит на Большую Ордынку, где поселился барон. В один из таких счастливых дней, возвращаясь от Штейна, он признается бывшим с ним приятелям, что собрался писать комедию, и читает несколько сцен из нее. Это был первый набросок «Горя от ума». Первый и недошедший до нас. В те годы продолжения не последовало.

Что было в нем? Обличительные монологи Чацкого. Горькие переживания первой и в чем-то обманутой любви. Прямое сходство с отношениями Мечина и Софьи (то же Софьи!) в «Вечере на бивуаке» Александра Бестужева-Марлинского: «Гордость зажгла во мне кровь, ревность разорвала сердце. Я кипел, грыз себе губы и, боясь, чтобы чувства не вырвались

речью, решил уехать. Не помню, где скакал я по полям и болотам, под проливным дождем, – в полночь воротился я домой без шляпы, без памяти». Армия стала освобождением – и от трудных переживаний, и от комедии. Писать ее, казалось, больше не было нужды.

В конце концов, армейская карьера удачной не была. Так складываются обстоятельства. Да Грибоедов и не ищет здесь славы. С конца 1814 года он числится в отпуску, в декабре 1815-го подает прошение об отставке: корнетом он вступает на военную службу – корнетом и увольняется. Где-то в течение этого года он должен был оказаться в Москве, но задержаться здесь не захотел. В марте 1816 года отставка принята, и Грибоедов поселяется в Петербурге, «на Екатерининском канале, у Харламова моста, угольный дом Валька». Дом этот иначе назывался в столице на Неве попугайным. Еще в екатерининские времена тирольцы Вальхи держали в нем торговлю птицами – от обученных канареек до попугаев.

Грибоедов в восторге от новой обстановки. «Квартира у меня славная, как приедешь, прямо у меня остановись, на Екатерининском канале... Приезжай, приезжай скорее. В воскресенье я с Истоминой и Шереметевым еду в Шустерклуб; кабы ты был здесь, и ты бы с нами дурачился. – Сколько здесь портеру, и как дешево», – строки из письма Степану Бегичеву, который и в самом деле поселился у Грибоедова. Увлечению петербургской жизнью слишком скоро приходит конец. Близкий друг Грибоедова, кавалергард Василий Шереметев погиб из-за Истоминой на дуэли с графом Завадовским. За так называемую «четверную дуэль» писателю пришлось поплатиться ссылкой

на Кавказ, а трагический исход «молодечества» ляжет темной тенью на всю остальную его жизнь: до конца своих дней он не сможет забыть «бедного Васю».

Вынужденная встреча с Москвой, через которую лежал путь в ссылку, ни радости, ни облегчения не приносит. Недоразумения в родном доме. Неудачные встречи с знакомыми. И без того недолгий отпуск Грибоедов сокращает до нескольких дней: «Вон из Москвы! Сюда я больше не езду!» Искренне удивлявшее старых приятелей новое отношение к старой столице, где все перестает нравиться, все раздражает и вызывает негодование: «Москвы я не люблю». Едва ли ни последним становится визит к Щербатовым. Ивана Дмитриевича в Москве нет. Старый князь с еще большим запалом предается поучениям. Княжна Наталья – сразу после отъезда Грибоедова она примет неожиданное для родных решение выйти замуж за князя Федора Петровича Шаховского, старого знакомого Грибоедова, которого раньше просто не замечала.

Грибоедов уезжает на Кавказ в последних числах августа 1818 года и оказывается в старой столице только в конце марта 1823-го. Родительскому дому он предпочитает дом только что женившегося Степана Бегичева на Мясницкой. С Бегичевыми уезжает на лето в их поместье Екатерининское, с ними же в конце сентября возвращается в Москву. Он оживлен, радостен, охотно и много общается с друзьями. Вечерами у Бегичевых много музицирует, аккомпанирует А. Н. Верстовскому, исполнявшему только что написанный романс «Черная шаль» на слова Пушкина. Подсказывает композитору мысль поставить «Черную шаль» на сцене «в картинном положении». Постанов-

ка состоялась 10 января 1824 года в Москве и принесла исполнителю, знаменитому тенору П.А. Булахову огромный успех.

Театр в эти месяцы – второй дом Грибоедова. Он бывает чуть не на всех спектаклях и уж, во всяком случае, на всех премьерях. Одно из таких посещений театра вместе с композитором А.А. Алябьевым становится московской легендой.

«Когда в антракте Грибоедов и Алябьев вышли в коридор, к ним подошел полицмейстер Ровинский в сопровождении квартального. Последовало объяснение. Полицмейстер обратился к Грибоедову:

– Как ваша фамилия?

– А вам на что?

– Мне нужно это знать.

– Я Грибоедов.

– Кузьмин, запиши, – сказал полицмейстер квартальному.

– Тогда Грибоедов обратился к полицмейстеру:

– Ну, а ваша как фамилия?

– Это что за вопрос?

– Я хочу знать, кто вы такой.

– Я полицмейстер Ровинский.

– Алябьев, запиши, – сказал Грибоедов своему приятелю». Дело было в том, что Грибоедов и Алябьев, как всегда, шумно вели себя в зрительном зале, освистывая одних исполнителей и нарочито громко аплодируя другим.

Но жизнь у Бегичевых была прежде всего работой над «Горем от ума». С Кавказа Грибоедов привез два первых полностью законченных действия. Представившийся отпуск – это возможность обновить московские впечатления, по-новому

взглянуть на московскую жизнь. Степан Бегичев первый, кому Грибоедов прочтет написанные акты и – дальше начинается непонятное. Бегичев, восторженно влюбленный в Грибоедова, безоговорочно принимавший каждое его произведение или суждение, на этот раз делает какие-то замечания, из-за которых писатель заново пишет первый акт. Впрочем, не совсем так. Тщательный анализ оставшегося черновика рукописи позволяет установить, судя по вклеенным новым листам, что переделке подверглись 2, 3 и отчасти 4 явления, а главное диалог Софьи и Чацкого. И самое удивительное – Грибоедов полностью переделывает характер Софьи. Исчезает независимая, своенравная, достойная собеседница и противница Чацкого, появляется просто московская барышня, мелочная, капризная, почти злобная. Исчезает привычный для обоих легкий остроумный разговор.

Софья: Вот вас бы с тетушкой свесть,
Чтоб всех знакомых перечесть.

Чацкий: А тетушка? Все девушкой, Минервой?

Все фрейлиной Екатерины Первой?

Воспитанниц и мосек полон дом?

С ней доктор Фациус? Он вам не рассказал?

Его прилипчивой болезнью я пугал,

Что будто бы Смоленск опустошает,

Мы в Вязьме съехались, вот он и рассуждает,

Хотелось бы в Бреслау, да вряд ли попадет,

Когда на полпути умрет,

Сюда назад давай бог ноги.

Софья: Смеялись мы, хоть мнимую чуму

Другой дорогою объехать бы ему.

Чацкий: Как будто есть у немца две дороги!

Каждое литературное произведение имеет, как правило, несколько вариантов. У «Идиота» Достоевского их девять, у «Ревизора» – пять, у «Войны и мира» – четыре, у «Горя от ума» – формально три, и раз за разом в них меняется, точнее – теряет портретные черты образ Софьи. Так в первом из них Лиза обращается с вопросом к Софье:

Теперь другой вам больше мил,

А помнится, он непротивен был.

Речь идет о Чацком, и Софья отвечает стремительно, не задумываясь, как о чем-то давно внутренне передуманном и решенном:

Не потому ли, что так славно

Зло говорить умеет обо всех?

А мне забавно?

Делить со всяким можно смех.

Спроси его, привязан он к чему,

Окроме шутки, вздора?

Всех в прихоть жертвует уму,

Что встреча с ним у нас, то ссора.

Споры с княжной Натальей памятливы многим современникам. Она не исповедовала чужих мнений, на все имела свое суждение. Из текста исчезает ее рассказ о любви к верховой езде, её слова, что выбору отца она предпочтет монастырь. Но главное – Грибоедов отказывается от первоначального варианта последнего действия. Разоблачение Молчалина, неожиданное появление Чацкого и —

Софья: Какая низость! Подстеречь!

Подкрасться и потом конечно обесславить.

Что? Этим думали меня к себе привлечь?

И страхом, ужасом вас полюбить заставить?

Отчетом я себе обязана самой.

Однако вам поступок мой

Чем кажется так зол и так коварен?

Не лицемерила и права я кругом!

Не Чацкий разоблачает интрижку бог весть в кого влюбившейся московской барышни, но Софья отвергает его, открыто утверждая свое право на свободный выбор сердца, на чувство собственного достоинства, на гордость. С ней можно спорить, ее нельзя не уважать. И вот этот-то необычный характер хочет скрыть и переделать Грибоедов.

Что ж, автор достиг своей цели. Если прототипы всех действующих лиц были названы современниками еще до того, как комедия увидела свет ramпы, разговор о Софье носил самый общий характер. Некие «Московские кухни» представлялись лицами скорее нарицательными, но уж никак не реальными. Литературоведы и вовсе пришли к выводу, что любовная интрига понадобилась Грибоедову только для того, чтобы развить сюжет пьесы, сделать его интересным для зрителя.

Касались ли замечания Бегичева литературных качеств рукописи? Безусловно нет – подобной ответственности неприязательный и скромный Степан Николаевич никогда на себя не брал. Могло случиться иное: известия о последних московских событиях. Княжна Наталья неожиданно выходит замуж за Федора Петровича Шаховского, с которым вместе

Грибоедов состоял в «Ложе Соединенных друзей», куда входили и П.Я. Чаадаев, и П.И. Пестель, и С.Г. Волконский, и С.П. Трубецкой, и М.И. Муравьев-Апостол. При всей пестроте состава ложи ее членов объединяла идея борьбы с фанатизмом и национальной ненавистью, проповедь естественной религии и триединый идеал, одинаково возвышенный и неопределенный: солнце, знание, мудрость.

Но уже в 1820 году князь Шаховской вместе с братом княжны Иваном Щербатовым попадает под следствие и суд по делу о так называемом бунте Семеновского полка. Первой среди москвичек она принимает на себя удар политических репрессий. Любая тень увлечения, флирта, пусть даже оставшейся в прошлом первой любви в отношении нее недопустима. Грибоедов должен пересмотреть свои чувства относительно новых обстоятельств и, не колеблясь, это делает. Другое дело – жизнь сердца. За годичное пребывание в Москве он единственный раз выбирается с визитом к княгине Шаховской – весной 1824 года, и не из ее ли дома опрометью мчится на станцию дилижансов, чтобы навсегда уехать в Петербург.

Он снова окажется на Кавказе в 1825 году, незадолго до событий на Сенатской площади, которые переломают судьбы многих его друзей, чудом обойдут его собственную и трагически скажутся на жизни бывшей княжны Щербатовой. Федор Петрович Шаховской по делу о декабристах получит новый приговор – ссылку в Туруханский край. Наталья Дмитриевна последует за ним. Так поступят многие жены, но ни одной не придется ухаживать за неизлечимо больным: единственный из осужденных Федор Шаховской сойдет через три года с ума.

Ему не дадут даже в таком состоянии разрешения на возвращение на родину. Наталья Дмитриевна будет до конца ухаживать за ним с двумя сыновьями на руках и лишь после смерти мужа получит возможность приехать в Москву. Она откажется от дома Шаховских и выберет для жизни старый дом отца. Все еще красивая, почти суровая женщина откажется и от общества – в Москве будут ходить слухи о принятом княгиней обете молчания. И после долгой, очень долгой жизни княгиня Наталья Дмитриевна Шаховская пожелает лечь в землю не с Шаховскими – рядом с могилой отца, на московском Ваганьковском кладбище. Та, которой обязано своим рождением «Горе от ума» и от которой в окончательном варианте комедии осталась разве что легкая, едва уловимая тень, отдельные, по недосмотру пропущенные автором слова.

Кажется, все. Хотя – хотя эта история имела свое неожиданное и совершенно необычное продолжение. В 1890-х годах Антон Павлович Чехов стал владельцем Мелихова. Среди множества новых знакомств одно было ему явно симпатичным – живший в соседнем Рождествене-Васькине молодой князь Сергей Иванович Шаховской. Князь – частый гость Мелихова, а когда появляется на свет княжна Наталья Сергеевна, ее крестным отцом становится Чехов. Имя новорожденная получает в честь прабабки – Натальи Дмитриевны Шаховской-Щербатовой. Чехов интересуется жизнью молодой семьи, спрашивает о Шаховских в письмах из Ялты, старается не терять из виду, но слишком скоро сам уходит из жизни.

Но гораздо более колоритная фигура – родной брат Сергея, второй внук Софьи из «Горя от ума», князь Дмитрий Ива-

нович Шаховской. Он был известным земским деятелем. Состоял бессменным членом ЦК партии кадетов. В 1906 году стал членом Государственной думы и секретарем фракции кадетов. За подпись, поставленную под так называемым «Выборгским воззванием», отбыл тюремное заключение. В 1917 году вошел в состав первого коалиционного правительства. Эмигрировать князь Дмитрий Иванович не захотел и стал одним из учредителей контрреволюционной организации «Союз возрождения». Тем не менее судьба обошлась с ним достаточно снисходительно. Немедленного наказания он не понес, некоторое время даже занимался литературной деятельностью, но позже следы его в России исчезли.

Не обязательная историческая справка? Может быть, если бы не воплощение тех черт характера княжны Натальи, которые так неумолимо сказались на судьбах едва ли не самых интересных людей ее времени, тем более на процессе создания «Горя от ума». А «выгоревшее дочерна» сердце Грибоедова – сколько в нем было от неразделенной или не до конца понятой любви, а сколько от чувства долга, порядочности, понимания смысла бытия человека среди людей, которые сделали таким единственным образ Александра Андреевича Чацкого?

СОДЕРЖАНИЕ

Несвиж! Стоянка десять минут	19
Листы березового дела	47
Опоздавшее письмо	63
Кем был «Нептун»	111
Тайна Кудеяра-атамана	157
Бунт совести	183
Лихая судьбина	217
Жемчужина Заречья	251
Неуслышанная исповедь	283

Нина Молева

ПЕРВЫМИ РОЖДАЮТСЯ ДОРОГИ

«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

Москва 2013

Составитель-редактор
НИНА МОЛЕВА-БЕЛЮТИНА

Редактор
НАТАЛИЯ ВОРОНОВА-ТОЛСТОЛУЦКАЯ

Художественное оформление, макет и обложка
СВЯТОСЛАВ ПЛЮЩ

Издание первое.
Подписано в печать 10. 10. 2013. Формат 60 x 84 / 16
Печать офсетная. Печ. л. 38,12.
Гарнитура PetersburgС Суг.
Отпечатано в московской типографии «ГАРТ»
Тираж 100 экз. Заказ № 9991